



**ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ**

**СЕРИЯ:
СОЦИОЛОГИЯ**

2017 Том 17 № 2

**Научный журнал
Издается с 2001 г.**

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-61214 от 30.03.2015 г.
Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

**RUDN JOURNAL
OF SOCIOLOGY**

2017 Volume 17 No. 2

**Founded in 2001
by the Peoples' Friendship University of Russia**

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 выпуска в год.

Языки: русский, английский.

Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich's Periodicals Directory: <http://www.ulrichsweb.com>).

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka, Google Scholar, WorldCat.

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 20826.

Цели и тематика

Журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология» — периодическое международное рецензируемое научное издание в области социологических исследований. Журнал является международным как по составу редакционной коллегии и экспертного совета, так и по авторам и тематике публикаций.

Цели журнала: публикация результатов фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным вопросам социологической науки, широкий обмен результатами теоретических и эмпирических исследований между специалистами, работающими в различных областях социально-гуманитарного знания. На страницах журнала публикуются материалы по историографии мировой социальной мысли как классического, так и современного периода; статьи по результатам фундаментальных и прикладных исследований по проблематике специальных социологических теорий, по методологии и методике социологических исследований и др. В журнале выступают специалисты, представляющие ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также вузы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность публиковаться в нем представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные. Кроме научных статей публикуется хроника научной жизни, включающая рецензии, научные обзоры, информацию о конференциях, научных проектах.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE (*Committee on Publication Ethics*) <http://publicationethics.org>.

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования к подготовке и публикации статей, архив (полнотекстовые выпуски с 2008 года) и дополнительная информация размещены на сайте: <http://journals.rudn.ru/sociology>.

Электронный адрес: socjournalrudn@rudn.university.

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 issues per year

Languages: Russian, English.

Indexed/abstracted in Ulrich's Periodicals Directory: <http://www.ulrichsweb.com>, Electronic Journals Library Cyberleninka, Google Scholar, WorldCat.

Aims and Scope

Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia (RUDN Journal of Sociology) is a peer-reviewed international academic journal publishing research in sociology and related fields. It is international with regard to its editorial board, contributing authors and thematic foci of the publications.

The aims of the journal: to publish the results of fundamental and applied research on the topical issues of sociology, and to ensure a broad exchange of the results of theoretical and empirical studies between scientists from different fields of social sciences and humanities. In the journal one can find papers on the historiography of the classical and modern periods of the world social thought; on the results of fundamental and applied research devoted to the problems considered by special sociological theories; on the difficulties in choosing methodological approaches and techniques for the study of complex social phenomena, etc. The journal publishes papers of the authors representing the leading sociological centers, institutes, organizations, and universities in Russia and abroad. The thematic 'repertoire' of the journal presents opportunities for authors from many disciplinary fields (political scientists, historians, economists, etc.) relying on the empirical sociological data in their research. The journal also welcomes book reviews, literature overviews, and conference reports.

The journal is published in accordance with the policies of COPE (*Committee on Publication Ethics*) <http://publicationethics.org>.

Further information regarding the journal, its editorial board, requirements to articles for contributors, and the journal's archive (full-text issues since 2008) and additional information are available at <http://journals.rudn.ru/sociology>.

E-mail: socjournalrudn@rudn.university.

Подписано в печать 18.04.2017. Выход в свет 25.04.2017. Формат 70×100/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. печ. л. 14,42. Тираж 500 экз. Заказ № 594. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ИПК РУДН: 115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, 3

Printed at the RUDN Publishing House: 3, Ordzhonikidze str., 115419 Moscow, Russia,

+7 (495) 952-04-41; E-mail: ipk@rudn.university

© Российский университет дружбы народов, 2017

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ПОЧЕТНЫЙ РЕДАКТОР

Херпфер К., Университет Вены, Австрия. E-mail: c.w.haerper@gmail.com

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Нарбут Н.П., РУДН, Россия. E-mail: narbut_np@rudn.university

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Троцук И.В., РУДН, Россия. E-mail: trotsuk_iv@rudn.university

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Бакиров В.С., доктор социологических наук, профессор, ректор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, академик НАН Украины, президент Украинской социологической ассоциации (Украина)

Бронзино Л.Ю., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Гаспаривили А.Т., кандидат философских наук, доцент, заведующий лабораторией Центра социологических исследований МГУ им. В.М. Ломоносова

Голенкова З.Т., доктор философских наук, профессор, руководитель Центра исследований социальной структуры и социального расслоения Института социологии РАН

Диас Николас Х., доктор политологии, профессор социологии в Университете Гранады, Университете Малаги и Мадридском университете Комплутенсе (Испания)

Иванов В.Н., доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, советник РАН

Маркович Д., доктор философских наук, профессор Белградского университета (Сербия)

Пан Д., доктор социологических наук, профессор, директор Института социологии Шанхайской академии общественных наук (КНР)

Подвойский Д.Г., кандидат философских наук, доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Пузанова Ж.В., *зам. главного редактора*, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, заведующая социологической лабораторией факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Ротман Д.Г., доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (Белоруссия)

Сурманидзе Л., профессор кафедры социологии и социальной работы факультета социальных и политических наук Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили (Грузия)

Татарова Г.Г., доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН

Чамбаликова М., доктор философии, профессор, научный сотрудник Института социологии Словацкой академии наук, заведующая кафедрой социологии и социальной психологии высшей школы Данубиуса (Словакия)

Шубрт И., доктор философии, профессор, заведующий кафедрой исторической социологии факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия)

Литературный редактор *К.В. Зенкин*
Компьютерная верстка *Е.П. Довголевская*

Адрес редакции:

115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3
Тел.: (495) 955-07-16; e-mail: ipk@rudn.university

Почтовый адрес редакции:

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2
Тел.: (495) 434-20-12, e-mail: socjournalrudn@rudn.university

EDITORIAL BOARD

HONORARY EDITOR

Haerpfer C., University of Vienna, Austria. E-mail: c.w.haerpfer@gmail.com

EDITOR-IN-CHIEF

Narbut N.P., RUDN University, Moscow, Russia. E-mail: narbut_np@rudn.university

EXECUTIVE SECRETARY

Trotsuk I.V., RUDN University, Moscow, Russia. E-mail: trotsuk_iv@rudn.university

EDITORIAL BOARD

Bakirov V.S., D.Sc (Sociology), Professor, Rector of V.N. Karazin Kharkiv National University, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, President of Ukrainian Sociological Association (Ukraine)

Bronzino L.Yu., D.Sc (Sociology), Professor of Sociology Chair of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Gasparishvili A.T., PhD in Philosophy, Associate Professor, Head of Center for Sociological Studies of Lomonosov Moscow State University (Russia)

Golenkova Z.T., D.Sc (Philosophy), Professor, Head of Center for Social Structure and Social Differentiation of Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Díez Nicolás J., D.Sc (Political Sciences), Professor of Department of Sociology II (Human Ecology and Population) of School of Political Sciences and Sociology of Complutense University of Madrid (Spain)

Ivanov V.N., D.Sc (Philosophy), Professor, Corresponding Member and Advisor of Russian Academy of Sciences (Russia)

Marković D., D.Sc (Philosophy), Professor of Belgrade State University (Serbia)

Pan D., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociology Institute of Shanghai Academy of Social Sciences (China)

Podvoiskiy D.G., PhD in Philosophy, Associate Professor of Sociology Chair of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Puzanova Zh.V., *Deputy Chief Editor*, D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociological Laboratory of PFUR Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Rotman D.G., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Center for Sociological and Political Research of Belorussian State University (Belorussia)

Surmanidze L., Professor of Sociology and Social Work Division of Faculty of Social and Political Sciences of I. Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia)

Tatarova G.G., D.Sc (Sociology), Professor, Senior Researcher of Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Čambáliková M., PhD in Sociology, Professor, Researcher at Institute of Sociology of Slovak Academy of Sciences, Head of Sociology and Social Psychology Chair of Higher School Danubius (Slovakia)

Šubrt J., PhD in Sociology, Professor, Head of Historical Sociology Chair of Faculty of Humanities of Charles University (Czech Republic)

Editor *Konstantin V. Zenkin*

Computer design *Ekaterina P. Dovgolevskaya*

Editorial office:

Postal Address of the Editorial Board:

10/2 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russian Federation
Ph. +7 (495) 434-20-12; e-mail: socjournalrudn@rudn.university

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

Куропятник А.И., Куропятник М.С. Постмультикультурализм: некоторые подходы к изучению современных социальных и культурных процессов	145
Shanin T. “Periphery”, state, and revolution, or Russia’s morphology of “backwardness” (Part 2) («Периферия», государство и революция, или морфология российской отсталости (Часть 2))	157
Шульц Э.Э. К вопросу о причинах радикальных форм социального протеста: размышления о принципах «мальтузианской ловушки» и демографических факторах	180
Merl S. Rules of political communication in the pre-war Soviet countryside (Форматы политической коммуникации в довоенной советской деревне)	192
Кравченко А.И. Московская школа социальной организации	202

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО:

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Aleshkovski I.A. Globalization of international migration: Social challenges and policy implication (Глобализация международной миграции: социальные проблемы и политические последствия)	213
Ткачева Н.И., Белоножко Л.Н. Влияние духовно-нравственных ценностей молодежи на формирование гражданской культуры российского общества	225
Рубан Л.С. Лонгитюдные исследования формирования патриотического сознания у школьной молодежи в полиэтничных регионах (результаты социологических опросов)	235

РЕЦЕНЗИИ

Освоение возраста. Рецензия на книгу: Иванов В.Н. От 70-ти до 100: размышления и воспоминания. — М., ИПО «У Никитских ворот», 2017. — 168 с.	253
Наши авторы	256

CONTENTS

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Kuropjatnik A.I., Kuropjatnik M.S. Postmulticulturalism: Some approaches to the study of contemporary social and cultural processes	145
Shanin T. “Periphery”, state, and revolution, or Russia’s morphology of “backwardness” (Part 2)	158
Shults E.E. On the reasons of radical forms of social protest: Reflections about principles of ‘Malthusian trap’ and demographic factors	180
Merl S. Rules of political communication in the pre-war Soviet countryside	192
Kravchenko A.I. Moscow school of social organization	202

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Aleshkovski I.A. Globalization of international migration: Social challenges and policy implication	213
Tkacheva N.A., Belonozhko L.N. The impact of spiritual and moral values of the youth on the Russian society civil culture	225
Ruban L.S. Longitude studies of the patriotic mood of school youth in polyethnic regions (results of sociological surveys)	235

REVIEWS

Mastering one’s age. Ivanov V.N. Ot 70-ti do 100: razmyshlenija i vospominanija [From 70 to 100: Reflections and Memories]. — M., IPO «U Nikitskih vorot», 2017. — 168 s.	253
Authors	256



ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-145-156

ПОСТМУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ*

А.И. Куропятник, М.С. Куропятник

Санкт-Петербургский государственный университет
Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, Россия, 191124
(e-mail: alkuropjatnik@mail.ru; kuropjatnik@bk.ru)

Постмультикультурализм представляет собой подход, в рамках которого реализуется один из современных способов концептуализации социального и культурного разнообразия в условиях глобализации. В отличие от мультикультурализма, развивавшегося как проект национального государства, постмультикультурализм имеет дело с тенденциями текучести, процессуальности и преодоления институциональных констелляций и национальных границ. Постмультикультурализм способствует формированию определенного видения проблем современности, привнося свой вклад в понимание роли и функций национального государства в условиях глобализации, в переопределение процессов интеграции в национальных и транснациональных контекстах, а также содействуя переходу к диалоговым формам поддержания социального и политического единства в пределах национального общества. В данной связи можно говорить о постмультикультуральном повороте в социальных науках, который, будучи сопряженным с управлением социокультурным многообразием, предлагает национальному государству и его институтам переосмыслить себя и свою деятельность в постмультикультуральной перспективе. По мнению авторов статьи, постмультикультурализм в переходах между старым и новым, между прошлым и будущим призван способствовать созданию новых концептуальных, дискурсивных пространств, а также прикладных экспликаций динамично изменяющейся реальности. Постмультикультурализм является этапом развития мультикультуральной идеологии, направленной на деэссенциализацию этничности и преодоление культурной дискриминации. Однако он не отрицает мультикультурализм. Последний по-прежнему является способом концептуализации новой социокультурной реальности, миграционной мозаики национального общества, которые поддерживаются в различных конфигурациях национальных политик мультикультурализма и благодаря которым постмультикультуральный подход обретает релевантные современности импульсы социальной и культурной динамики.

Ключевые слова: постмультикультурализм; мультикультурализм; интеркультурализм; глобализация; миграция; культура; национальное государство

В последние полтора десятилетия термин «постмультикультурализм» находится в самом центре научных дискуссий, несмотря на то, что его теоретические контуры, содержание и структура еще только формируются. В настоящее время едва ли можно говорить о том, что постмультикультурализм как научная категория приобрел в социальных науках определенный вес и самостоятельное аналитиче-

* © Куропятник А.И., Куропятник М.С., 2017.

ское значение. Однако он активно используется в контекстах других научных подходов, например, интеркультурализма, транснационализма, космополитизма, миграционных теорий, где обнаруживает известный эвристический потенциал, внося свой вклад в конфигурации исследовательских стратегий и специфику получения нового знания.

Постмультикультурализм представляет академический и практический интерес. Это обусловлено тем, что он способствует формированию определенного фокуса видения проблем современности, привнося свой вклад в понимание роли и функций национального государства в условиях глобализации, в переопределение процессов интеграции в национальных и транснациональных контекстах, а также содействуя переходу к диалоговым формам поддержания социального и политического единства в пределах национального общества. В этой связи можно говорить о постмультикультуральном повороте в социальных науках, который, будучи сопряженным с управлением социокультурным многообразием, предлагает национальному государству и его институтам переосмыслить себя и свою деятельность в постмультикультуральной перспективе. Это обусловлено, прежде всего, тем, что динамика процессов трансмиграции и транснационализации в глобальных контекстах активно разрушает традиционные представления о государстве и национальном единстве [8. Р. 65]. Кроме того, меняется содержание задач по реорганизации политико-социального и культурного пространства национального общества, нуждающегося в пересмотре «отставших от времени» идей и политик его трансформации. Речь идет, например, о переосмыслении значения и возможностей политик мультикультурализма в условиях современности, а также о переходе от линейных схем социальной интеграции к более «тонким», диалогичным формам баланса интересов различных групп населения и созданию общих дискурсивных и концептуальных пространств межкультурного взаимодействия [11. Р. 3].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТМУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

В социальных науках постмультикультурализм концептуализируется исходя из того, что мультикультурализм в странах западных демократий потерпел неудачу и пришло время новых решений для преодоления стремительно нарастающего социального неравенства, этнического и культурного разнообразия. Иногда постмультикультурализм рассматривается как форма отражения в политике и академической науке последствий глобализации, новой экономической ситуации, реинтерпретации идей мультикультуральности и мультикультурализма, глобализованного иммиграционного движения, ослабления роли национального государства, испытывающего трудности в обеспечении идентичности, единства и безопасности своего населения. В связи с этим в ряде случаев актуализируется упрощенная версия дискурса постмультикультурализма, включающего в себя два основных элемента. Один из них, сопряженный с политикой, указывает на мультикультурализм как неудавшийся социальный проект, вызвавший к жизни различные формы этнокультурной и религиозной локализации, групповой интеграции и социальной

сегментации вопреки ожидавшемуся укреплению национальной идентичности и гражданского единства. Другой, будучи вовлеченным в академическую сферу, подчеркивает важность национальной интеграции, социального и культурного равенства и позитивных межгрупповых отношений. Однако действительное значение постмультикультурализма, на наш взгляд, заключается в том, что он фокусирует внимание на связующих контекстах и переходных состояниях.

Как и в случае с другими аналогичными понятиями, такими как постмодернизм, постструктурализм, постсовременность, постнационализм — приставка «пост» в слове «постмультикультурализм» указывает, с одной стороны, на его тесную связь с предшествующей интеллектуальной традицией мультикультурализма, а с другой, на логичность продолжающегося развития идей мультикультурализма в новых условиях [12. Р. 1]. В этой связи одна из важнейших функций постмультикультурализма состоит в том, чтобы в переходах между старым и новым, между прошлым и будущим способствовать созданию новых концептуальных, дискурсивных пространств, а также прикладных экспликаций динамично изменяющейся реальности. В этом контексте показательно высказывание Д. Лея о том, что эпоха релевантности приставки «пост» — постиндустриальный, постфордистский, постмодернистский, постнациональный, постструктурный, постмарксистский, постколониальный — несомненно, продолжается. Исследователи обращаются к ней, чтобы определить ситуации нового экономического разрыва, политического перехода или социальных преобразований и одновременно артикулировать создание нового дискурсивного пространства [11. Р. 3].

Исходя из этого постмультикультурализм не только провозглашает новую реальность «за пределами мультикультурализма», но и создает «карту переходов» между различными историческими эпохами, областями знания, национальными государствами, социальными и культурными ландшафтами современных обществ, перемещая практики теоретизирования, постановки и принятия решений в своеобразную глобальную рамку.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОСТМУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

Постмультикультурализм предлагает переосмысление эпистемологии и аналитической структуры современных процессов социальной и культурной плюрализации, формирования контекстов «суперразнообразия» [20], реинтеграции национальных обществ, что подразумевает и «новую» конфигурацию его содержания, основанную на текучести, изменчивости, незавершенности и открытости. В отличие от концепций раннего мультикультурализма 1970—1980-х гг., нацеленных на переход от колониальных структур управления к формированию национального общества с определенной системой позиций и связей в его границах между различными социальными, этническими и культурными группами, постмультикультурализм имеет дело с явлениями текучести, социокультурной процессуальности, преодоления институциональных констелляций. В этих условиях границы между государствами и локальностями, в определенном смысле, становятся все более проницаемыми, а транснациональные, в том числе и диаспорные пространства выступают местом общественных дискуссий, постоянных переопределений культуры и идентичности.

На этой основе, в рамках постмультикультурализма формируются новые способы концептуализации этнокультурного и социального многообразия в условиях глобализации. В одном случае, следуя прежней интеллектуальной традиции, они включают в себя статистику и демографию движения населения, рефлексию социальных изменений, мультикультурной организации социального пространства как приемлемых и достаточных оснований для анализа определенной версии современности. В другом случае признание множественности версий современности подразумевает перманентные, пусть даже едва заметные, но весьма существенные по своим последствиям изменения в привычных мультикультуральных стратегиях признания, включения и интеграции, наблюдаемые в сходных социальных условиях. При этом значимым становится не постоянное увеличение числа иммигрантов или усложнение этнических структур населения, но смещение социальных контекстов [17. Р. 1—11] при формировании новых социальных и культурных разрывов, например, между первым и вторым поколениями иммигрантов, когда родители ощущают себя более интегрированными в национальное общество, чем их дети [6. Р. 2]. Например, когда в границах национального государства формируются транснациональные, транскультурные, трансэтнические религиозные общины. В этих условиях не только преодолеваются межгрупповые границы, возникают транскультурные сети общения (в том числе и через Интернет), но и преодолеваются дифференциальные установки мультикультурализма, стирается отчетливая строгость организации этнокультурной мозаики национального общества. Это в свою очередь стимулирует появление идеологии постмультикультурных стратегий и ситуаций, например, в политической сфере, где мультикультурализму уже давно отказано в высоких ставках.

Постмультикультуральный дискурс также развивается в средствах массовой информации, где обозначаются перспективы развертывания информационных контекстов и их влияния на общественные процессы в настоящем и будущем [9. Р. 38—39]. Потенциал постмультикультурализма определяется возможностями обновления методологического инструментария. В своем новом качестве это способ артикуляции постмультикультурных нарративов сложности, синхронности, пересечения, текучести, гибридности и транслокальности. Наконец, это открытое пространство дискуссии для концептуализации новых подходов к анализу современности в логике постмультикультуральности [8. Р. 67].

ДИСКУРС ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОСТМУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

Принято считать, что идея постмультикультурализма особенно активно развивается после 11 сентября 2001 г. на фоне набирающего силу дискурса краха мультикультурализма, многократно подкрепленного террористическими атаками в США, Европе, России и других странах в начале XXI в. Плотность этого дискурса оказалась настолько высокой, что риторика о конце мультикультурализма, по словам У. Бредли, стала устойчиво сопрягаться с самим постмультикультурализмом [5. Р. 1]. Аналогичное мнение высказывают и другие ученые. В этой связи следует подчеркнуть, что суждения о крушении политик мультикультура-

лизма не вполне соответствуют действительности. Во-первых, они несут на себе печать былой пропаганды государственного интегративного мультикультурализма. Последний, как известно, по ряду важных причин сформировался в странах классической иммиграции, где успешно развивается и в настоящее время. Но будучи пересаженным на европейскую почву как универсальный, «подходящий ко всем замкам ключ», он оказался не очень уместным, потому что не смог обеспечить гарантированное решение политических и иммиграционных проблем Европы. Во-вторых, эти высказывания содержат попытку анонсировать мир «после мультикультурализма», политические контуры которого и сегодня остаются достаточно неясными.

Возвращаясь к высказываниям о мультикультурализме в Западной Европе, отметим, что осмысление постмультикультурной реальности в Европе и Америке, Азии, Африке и Австралии, в Новой Зеландии и на Маврикии было обусловлено не только логикой процессов глобализации, но в том числе и колониальным наследием, императивами глобального управления, сформулированными политиками ведущих стран мира [10. Р. 232—233].

Пик давления на национальные версии мультикультуральных политик и школьные мультикультурные программы пришелся на конец 2010 — начало 2011 года, «когда премьер-министры и президент трех самых могущественных стран Европы объявили о несостоятельности мультикультурализма» [5. Р. 2]. Эти утверждения не совсем соответствовали результатам исследований ведущих ученых мира, изучавших проблемы развития поликультурных национальных политик в национальных государствах [14. Р. 7]. Но они были явной попыткой пересмотра тенденций развития этносоциальных процессов в Европе, однако не в пользу идеи общего европейского дома, а в интересах национальных элит, заинтересованных в определенном политическом тоне и электоральных предпочтениях своих избирателей. Как известно, одной из важных причин Brexit являются проблемы миграции, а политическая ангажированность мультикультурализма в Канаде известна еще со времен П. Трюдо [9. Р. 28]. Тем не менее, утверждения о том, что мультикультурализм потерпел фиаско после 11 сентября 2001 г., даже вопреки данным о росте поликультурной политики в период между 2000—2010 гг. [3. Р. 66; 14. Р. 40], все же имели определенный смысл. Они не только инициировали разрушение устаревших национальных моделей управления процессами транснационализации и миграции, но и знаменовали собой, как и в случае с внедрением интегративного мультикультурализма, начало перехода к новым универсальным методам ускоренной социокультурной и политической трансформации национальных обществ.

С этого момента современные общества постепенно обретают новые дискурсивные контуры, превращаясь в сложные оспариваемые области идентичностей, находя новые перспективы в условиях этнического, культурного, иммигрантского суперразнообразия [20]. «Мультикультурализм потерпел неудачу, — писал по этому поводу Т. Модуд, — он находится в политическом отступлении и даже мертв, особенно в Западной Европе. Это становится доминирующим дискурсом не только

среди общественности, но и среди ученых» [15. Р. 1]. Справедливости ради нужно отметить, что отступление от политик мультикультурализма было заметным на уровне дискурса, а не на уровне реальной политики. В частности, К. Бентинг отмечает, что многие из новых политик интеграции, отмеченные как свидетельство отказа от мультикультурализма, напоминают программы, которые уже давно являются частью иммиграционной интеграции в Канаде [13. Р. 66].

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ПОСТМУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ

В определенном смысле постмультикультурализм выступает альтернативой мультикультурализму. Однако он не отрицает мультикультурализм. Последний по-прежнему является элементом концептуализации новой социокультурной реальности, миграционной мозаики национального общества, которые формировались и поддерживаются в различных конфигурациях национальных политик мультикультурализма и благодаря которым постмультикультуральный подход обретает релевантные современности импульсы социальной и культурной динамики. Можно сказать, что постмультикультурализм принимает «конструктивное участие» в мультикультурализме, а не отстраняется от него [9. Р. 35]. Это означает, что постмультикультурализм использует также возможности мультикультурализма, обретая тем самым новый научный, политический и социальный потенциал.

«Постмультикультуральные выходы» за пределы мультикультурализма в рамках обновляющейся социальной теории и практики обусловлены также и тем, что идеи мультикультурализма были сформулированы в целях интеграции национального общества, но в другое время и в других условиях. В этом плане постмультикультурализм — это, действительно, не отказ от мультикультурализма, а признание того факта, что необходимы обновляемые стратегии для понимания разнообразия в разных социальных и политических контекстах и локальностях, опираясь при этом на мультикультурализм, являющийся важным теоретическим и прикладным активом, а не просто набором проблем, требующих обсуждения [5. Р. 15]. Не менее важным является и признание контекстуальности мультикультурализма, формы реинтерпретации которого в условиях новой реальности идеологически развиваются в направлении постмультикультурализма.

Одна из особенностей постмультикультурализма состоит в том, что в его логике мультикультурализм как инструмент преобразования современности был смещен на периферию, в разряд политики прошлого. В первую очередь это коснулось несоответствия первоначальных принципов и политик мультикультурализма в европейских странах и странах классической иммиграции (в частности, идей толерантности, включения/исключения, признания, равноправия, равных возможностей в границах национального общества) новым культурным, политическим и социальным реалиям, возникшим в контекстах глобализации. Кроме того, официальный мультикультурализм, понимаемый в ряде случаев как своеобразная «структура контроля» [5. Р. 2], сдвигается в прошлое, на периферию социальной теории. В этом контексте получила развитие критическая теория мультикультурализма. В ее центре оказалась идея бюрократического или административного

мультикультурализма, цель которого состояла в поддержании расовых, этнических и культурных различий национальных меньшинств и групп иммигрантов. Идея создания культурной мозаики в границах национального общества стала одной из важных причин эрозии его объединяющего общественного потенциала и падения популярности концепций мультикультурализма [12. Р. 3—6]. Именно поэтому мультикультурализм подвергается резкой критике и упрекам за искоренение ценностей национального общества, разрушение его идентичности. В связи с этим важно подчеркнуть, что мультикультурализм — это не эстетика культурного наследия. В известном смысле это также постэтнический проект, в рамках которого формируется основа социальной политики, включающая в себя требования равноправия, благосостояния, равноправных отношений граждан с государственными структурами, например, с полицией, поддержки иммиграции и иммигрантов, равных возможностей для самореализации и в сфере занятости [11. Р. 5]. Конечно, «мультикультуральный фестиваль» притупляет ощущение маргинализации иммигрантов в экономической и политической сферах [11. Р. 4]. Но он не снимает с повестки дня вопрос о том, что увеличение численности иммигрантов, растущее культурное многообразие может приводить к напряжению в обществе, фрагментации национальной идентичности и даже угрожать национальному государству [3. Р. 797—798; 16. Р. 363].

Как показали исследования Д. Берри, увеличение разнообразия не всегда приводит к конфликту или снижению социального капитала общественной солидарности, что особенно заметно на местном уровне [4. Р. 6]. Здесь, как и в других случаях, межкультурное взаимодействие является только одним из аспектов модернизации, в которую вовлечены наряду с иммигрантами и принимающей стороной многие другие участники, включая государственных чиновников, школы, системы образования, здравоохранения и публичную сферу. Важно отметить, что агентность таких ситуаций контекстуальна, т.е. на локальном уровне каждый участвующий в межкультурной ситуации потенциально подвергается изменению и вынужден определять свой культурный выбор.

Так или иначе, происходит понимание того, что «модернизация не ведет к окончанию множественности культур», она, напротив, усиливает эти культуры [2. С. 112]. Разнообразные версии мультикультурализма имеют в виду понимание культуры как внутренне гомогенной и локализованной в определенных границах, которое в мире всеобщей мобильности населения и культурной гибридации утрачивает свою интеллектуальную привлекательность и инструментальную ценность. Если такое понимание культуры «когда-нибудь и соответствовало истине, то только не сегодня» [1. С. 155]. Вместе с тем следует признать справедливым, что глобализация подразумевает не редукцию, а усложнение культурного разнообразия и перевод различий в другую плоскость [7. Р. 10].

Внимание к культурному и этническому разнообразию, присущее мультикультурализму, обеспечивается посредством признания и включения [18. Р. 14]. Только благодаря бесперебойному действию этого механизма агент публичной сферы может быть распознан, идентифицирован и помещен в общественную этнокультурную мозаику диспозиций и отношений. Постмультикультурализм не обла-

дает соответствующими компетенциями, поскольку его задача состоит не в воссоздании социальной структуры общества или поддержании границ группы, но в обеспечении постоянного диалога между разнообразными, этническими и социальными агентами будь они индивидуальными или групповыми участниками социокультурного взаимодействия. Но в отличие от версии мультикультурализма Берри [4. Р. 8], редуцирующего мультикультуральную идеологию до индивидуального уровня взаимоотношений, постмультикультурализм — такая форма организации пространства взаимодействия, где этнические иерархии и культурные различия не имеют особого значения. В данном случае речь не идет о культурной нейтральности или индифферентности, — культура не может быть нейтральной [13. Р. 63]. Однако инициатива межкультурного контакта, форма его организации, содержание и пределы отношений всецело зависят от участника ситуации, вовлеченного в контексты постмультикультуральности.

Постмультикультурализм едва ли имеет при этом такую же структуру, историю и функции как мультикультурализм. Он лишь наследует некоторые черты своего великого предшественника, оставаясь при этом в его тени. Постмультикультуральный поворот, скорее, раскрывает и корректирует недостатки официального мультикультурализма, чем выступает его новой версией. Он принял на себя тяжелый груз критики из-за «пристрастия» мультикультурализма к подчеркиванию культурных и этнических различий, «созданию» этнокультурных групп методами статистики, артикуляции иммиграционных проблем. В общий критический поток вскоре были включены упреки еще и в том, что он игнорирует вопросы социального и экономического неравенства, создает модели интеграции и управления «для всех», что его подходы не укладываются в перспективу социально-политических и экономических преобразований в обществе, в новые трансгендерные конфигурации и постэтнический статус национального общества. Устаревшие национальные модели мультикультурализма требовали замены. Постмультикультурализм выступил своеобразной альтернативой, прежде всего, благодаря перенесению мультикультуральных проблем из границ национального общества в глобальное пространство научной дискуссии и принятия политических решений. Для этого он должен был отказаться от теоретических парсонсианских структурно-функциональных «пристрастий» и перейти к поощрению деэссенциализации этничности, признанию новых версий гибридности, значимости транслокальности, множественности версий современного общества, множественных перспектив его экономического и культурного развития [9. Р. 26]. Тем самым в рамках постмультикультурализма развивается процессуальный способ концептуализации культурного разнообразия.

В этих условиях постмультикультурализм формируется также и как политический дискурс, признающий многообразие, но нацеленный на поддержание и развитие сильной национальной идентичности [18. Р. 15]. Поле его интересов расширилось за счет смещения фокуса с политического и социокультурного пространства национального общества, на активно растущие центры мировой политики, а также на тренды развития экономики, общества и культуры, выходящие за пре-

дела привычных конфигураций. В настоящее время постмультикультурализм вовлечен в формирование новых дискурсов постсовременности, включая дискурс ситуаций суперразнообразия [20]. Последние, в парадигме мультикультуральной теории, ограничивались только учетом демографии, этничности и культуры. Однако в новых условиях они вобрали в себя дополнительно значительный перечень дифференциальных переменных, таких как иммиграционный статус, сопутствующая ему оплата труда, ограничения прав, различный опыт на рынке труда, гендерные и возрастные профили, паттерны пространственного распределения и смешанные локальные сети. Их совокупность и взаимная обусловленность дают истинное представление о понятии «супер-разнообразия» [20. Р. 1025].

Постмультикультурализм, учитывая современные тенденции в сфере миграции и ситуации «супер-разнообразия», позволяет сместить фокус внимания на крупные города. Именно мегаполисы, а не только старые мировые столицы становятся сегодня центрами иммиграционного притяжения, расового, этнического и культурного многообразия, своеобразными парадигмами транснационализации мирового политико-экономического, экономического и культурного пространства. Как пишет Т. Модуд, в ближайшие десятилетия в структуре населения городов Европы произойдут важные изменения, так как численность неевропейского населения в них вырастет до 50%, а ситуация этнокультурной и расовой плюральности в американских городах станет парадигмой развития для Европы [14. Р. 15—17]. Таким образом, постмультикультурализм, затрагивая проблемы этнокультурного и постмиграционного многообразия, вовлекает в широкое обсуждение тему города как один из важнейших элементов постмультикультурального дискурса. В рамках постмультикультуралистских исследований город рассматривается, во-первых, одним из наиболее значимых мест для обсуждения этнических идентичностей, а во-вторых, артикулируется как постнациональный проект интеркультурального общества [19. Р. 623]. Предоставляя определенные концептуальные рамки, постмультикультурализм имеет дело с многослойным характером городского населения. Он принимает во внимание не только культурные и этнические различия между группами, но также широкую палитру социальных различий, в том числе внутри культурных, этнических и религиозных групп [18].

ИНТЕРКУЛЬТУРАЛИЗМ И КОСМОПОЛИТИЗМ

В рамках постмультикультурализма космополитизм и интеркультурализм представляют собой важные направления изучения глобализованных версий современных политических, социальных и культурных процессов [16. Р. 366]. Их внешнее несходство и шлейфы эксклюзивных терминологических коннотаций создают впечатление непреодолимости теоретических разногласий между ними. Между тем в рамках постмультикультурализма, предлагающего новые концептуальные рамки переосмысления интеграции, способов соединения частей реальности в определенную целостность, они обретают общий теоретический и практический фундамент. Так, космополитизм и интеркультурализм, будучи сориентированными на социальную интеграцию, не поддерживают сильных групповых связей, предла-

гая разные способы быть гражданином. В рамках космополитизма даже подчеркивается желательность межкультурного смешения и, следовательно, не приветствуется политика мультикультурализма. Интеркультурализм, хотя и считается дополнением к мультикультурализму, также поддерживает межкультурные отношения на индивидуальном уровне, подвергая сомнению приоритеты межгрупповой коммуникации. Интеркультурализм способствует развитию стратегий общения, признания динамического характера идентичностей, поощрения социального единства и критики неолиберальных культурных практик [12. Р. 1]. Постмультикультурализм, космополитизм, как и интеркультурализм, имеют одной из своих основных задач социальную интеграцию и достижение социального единства.

Итак, постмультикультурализм переводит сложившиеся в рамках национального государства и политик мультикультурализма способы организации этнического и культурного многообразия в новые форматы их осмысления и практической реализации в глобальных контекстах.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Гидденс Э.* Неспokoйный и могущественный континент: что ждет Европу в будущем? М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015.
- [2] *Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2005.
- [3] *Banting K.* Transatlantic convergence? The archaeology of immigrant integration in Canada and Europe // *International Journal*. 2014. Vol. 69. No. 1.
- [4] *Berry J.* Comparative analysis of Canadian multiculturalism policy and the multiculturalism policies of other countries // *Psychology in Russia: State of the Art*. 2016. Vol. 9. No. 1.
- [5] *Bradley W.* Is there a post-multiculturalism? // *Working Paper Series Studies on Multicultural Societies*. 2013. No. 19.
- [6] *Bradley W.* Multiculturalism beyond culture: Notes on leaving race behind // *Working Paper Series Studies on Multicultural Societies*. 2014. No. 29.
- [7] *Eriksen T.H.* Globalization. The Key Concepts. L.—New Delhi: Bloomsbury, 2013.
- [8] *Fleras A.* Moving positively beyond multiculturalism: Toward a post-multicultural governance of complex diversities in a diversifying Canada // *Zeitschrift für Kanada-Studien*. 2015. Vol. 35.
- [9] *Fleras A.* Multicultural media in a post-multicultural Canada // *Global Media Journal*. 2015. Vol. 8. No. 2.
- [10] *Goh D.* From colonial pluralism to postcolonial multiculturalism: Race, state formation and the question of cultural diversity in Malaysia and Singapore // *Sociology Compass*. 2008. No. 2/1.
- [11] *Ley D.* Post-multiculturalism? // *Research on Immigration and Integration in the Metropolis // Working Paper Series*. 2005. No. 5—18.
- [12] *Meer N., Modood T.* How does interculturalism contrast with multiculturalism? // *Journal of Intercultural Studies*. 2012. Vol. 33. No. 2.
- [13] *Mishra S., Kumar C.B.* Understanding diversity: A multicultural perspective // *IOSR Journal of Humanities and Social Science*. 2014. Vol. 19. No. 9.
- [14] *Modood T.* Post-immigration 'difference' and integration: the case of Muslims in Western Europe. Report prepared for the British Academy. L.: British Academy, 2012.
- [15] *Modood T.* The strange non-death of multiculturalism // *Max Weber Lecture*. European University Institute. 2013. No. 3.
- [16] *Singh Sh. A.* Addressing the current crisis in Canadian multiculturalism // *Lapis Lazuli. An International Literary Journal*. 2015. Vol. 5. No. 1.
- [17] *Strathern M.* Foreword // *Shifting Contexts: Transformations in Anthropological Knowledge / Ed. by M. Strathern*. L.—N.Y.: Routledge, 2004.

- [18] *Tasan-Kok T., Kempen van R., Raco M., Bolt G.* Towards Hyper-Diversified European Cities: A Critical Literature Review. Utrecht: Utrecht University, 2014.
- [19] *Uitermark J., Rossi U., Houtum H.* Reinventing multiculturalism: Urban citizenship and the negotiation of ethnic diversity in Amsterdam // *International Journal of Urban and Regional Research*. 2005. Vol. 29. No. 3.
- [20] *Vertovec S.* Super-diversity and its implications // *Ethnic and Racial Studies*. 2007. Vol. 30. No. 6.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-145-156

POSTMULTICULTURALISM: SOME APPROACHES TO THE STUDY OF CONTEMPORARY SOCIAL AND CULTURAL PROCESSES*

A.I. Kuropjatnik, M.S. Kuropjatnik

Saint-Petersburg State University
Universitetskaya Nab., 7/9, Saint-Petersburg, Russia, 191124
(e-mail: alkuropjatnik@mail.ru; kuropjatnik@bk.ru)

Postmulticulturalism is a way to conceptualize social and cultural diversity under the globalization. Unlike multiculturalism that developed as a nation-state project postmulticulturalism considers the tendencies of fluidity, processuality, and overcoming institutional constellations and national boundaries. Postmulticulturalism allows a specific vision of contemporary problems, thus contributing to the understanding of the role and functions of the nation state under the globalization, to the redefining of integration in national and transnational contexts, and to the transition to dialogue forms of maintaining social and political unity within the nation. Thereafter the authors consider a 'postmulticultural turn' in social sciences, which is associated with managing cultural diversity and allows the nation state to rethink itself in the postmulticultural perspective. Postmulticulturalism contributes to the development of new conceptual and discursive spaces, and to the practical explications of the changing reality under the recurrent transitions between old and new, the past and the future. Postmulticulturalism is a stage in the development of a multicultural ideology aimed at deessentialization of ethnicity and overcoming cultural discrimination. However, it does not deny multiculturalism as a way to conceptualize new social and cultural realities and migration situation in nation states that are supported by various multicultural policies and provide the postmulticultural approach with the impulses for social and cultural dynamics relevant for the contemporary society.

Key words: postmulticulturalism; multiculturalism; interculturalism; globalization; migration; culture; nation state

REFERENCES

- [1] Giddens E. *Nespokoinyi i mogushchestvennyi continent: chto zhdiat Evropu v budushchem?* [Turbulent and Mighty Continent. What Future for Europe?]. Moscow: Izd. dom «Delo»; 2015 (In Russ).
- [2] Hantington S. *Stolknovenie tsivilizatsiy* [The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order]. Moscow: AST; 2005 (In Russ).
- [3] Banting K. Transatlantic convergence? The archaeology of immigrant integration in Canada and Europe. *International Journal*. 2014;69(1).
- [4] Berry J. Comparative analysis of Canadian multiculturalism policy and the multiculturalism policies of other countries. *Psychology in Russia: State of the Art*. 2016;9(1).

* © A.I. Kuropjatnik, M.S. Kuropjatnik, 2017.

- [5] Bradley W. Is There a post-multiculturalism? *Working Paper Series Studies on Multicultural Societies*. 2013;19.
- [6] Bradley W. Multiculturalism beyond culture: Notes on leaving race behind. *Working Paper Series Studies on Multicultural Societies*. 2014;29.
- [7] Eriksen T.H. *Globalization. The Key Concepts*. L.—New Delhi: Bloomsbury; 2013.
- [8] Fleras A. Moving positively beyond multiculturalism: Toward a post-multicultural governance of complex diversities in a diversifying Canada. *Zeitschrift für Kanada-Studien*. 2015;35.
- [9] Fleras A. Multicultural media in a post-multicultural Canada. *Global Media Journal*. 2015;8(2).
- [10] Goh D. From colonial pluralism to postcolonial multiculturalism: Race, state formation and the question of cultural diversity in Malaysia and Singapore. *Sociology Compass*. 2008;2/1.
- [11] Ley D. Post-multiculturalism? *Research on Immigration and Integration in the Metropolis. Working Paper Series*. 2005;5—18.
- [12] Meer N., Modood T. How does interculturalism contrast with multiculturalism? *Journal of Intercultural Studies*. 2012;33(2).
- [13] Mishra S., Kumar C.B. Understanding diversity: A multicultural perspective. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*. 2014;19(9).
- [14] Modood T. Post-immigration ‘difference’ and integration: the case of Muslims in Western Europe. *A Report prepared for the British Academy. New Paradigms in Public Policy*. L.: British Academy; 2012.
- [15] Modood T. The strange non-death of multiculturalism. *Max Weber Lecture. European University Institute*. 2013;3.
- [16] Singh Sh.A. Addressing the current crisis in Canadian multiculturalism. *Lapis Lazuli. An International Literary Journal*. 2015;5(1).
- [17] Strathern M. Foreword. M. Strathern (ed.) *Shifting Contexts: Transformations in Anthropological Knowledge*. L.—N.Y.: Routledge; 2004.
- [18] Tasan-Kok T., Kempen van R., Raco M., Bolt G. *Towards Hyper-Diversified European Cities: A Critical Literature Review*. Utrecht: Utrecht University; 2014.
- [19] Uitermark J., Rossi U., Houtum H. Reinventing multiculturalism: Urban citizenship and the negotiation of ethnic diversity in Amsterdam. *International Journal of Urban and Regional Research*. 2005;29(3).
- [20] Vertovec S. Super-diversity and its implications. *Ethnic and Racial Studies*. 2007;30(6).



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-157-179

“PERIPHERY”, STATE, AND REVOLUTION, OR RUSSIA’S MORPHOLOGY OF “BACKWARDNESS” (PART 2)*

T. Shanin

University of Manchester
Oxford Rd., Manchester, M13 9PL, UK
(e-mail: shanin@universitas.ru)

With this paper, we continue a series of publications on the theoretical aspects of Teodor Shanin’s conception of Russia as a ‘developing society’ first published in 1986 in the book *Russia as a ‘Developing Society’*. *The Roots of Otherness: Russia’s Turn of Century*. Vol. 1. In this part, the author considers the characterization of Russia as a “developing society” at the turn of the XX century, which cannot be understood outside the context of capitalism both internationally and intra-nationally. At the same time the unique/specific features that most profoundly characterized the Russian social scene at the turn of the century and made its mark as its past within its present were represented particularly by the state, ethnos and peasantry. The power of the Russian state apparatus, its share of resources, its control over the population and its legal claims exceeded those elsewhere where capitalism was on the march. Massive processes of consolidation and ‘extended reproduction’ of cultural patterns, language usage, fundamental symbols of identification and self-identification, as well as of related political loyalties, wielded together massive populations of different origins. Finally, during two centuries only, the Russian peasants moved all the way from the payment of tribute to unheard-of levels of exploitation and cattle-like enslavement of more than nine-tenths of the Russians; however, within another century came the emancipation from serfdom which made peasantry not only ‘free’ but landowning. The Russian dependent development of that time found its expression not only at the general level of the economic flows malfunctions and transformations but also at the distinct dimension of class generation and conflict. Parallel to the general crisis of the Russian political economy and the growing and increasingly explicit conflict between major social groups was an ideological/moral crisis expressed in perceptions, concepts and values (thus, the Russian intelligentsia confronted directly the state apparatus). The author concludes with the types of dissent initiated by men of knowledge, of ideas and of moral values, which was represented in different populist theorists including revolutionary populism and subjective sociology.

Key words: developing society; capitalism; Russia; the state; peasantry; populist theories and movements; class conflicts; intelligentsia; periphery; revolution

The question “Was the Russian case one of “capitalism” or of “feudalism”, an “oriental despotism”, a “developing society”, a “de facto colonialism” or something else?” is badly put in one fundamental sense. As an approximation or intellectual shorthand it may suffice, but it is epistemologically naive to mix two levels and languages of discourse: that of social reality and its theoretical models [39]. It goes without saying that these relate and it is within the process of relating them (“double fitting” [3. P. 294–295]), that a systematic knowledge of society is born. There is, however, no logical way to re-

* © T. Shanin, 2016.

duce those languages one into another. Theoretical models do not reflect reality directly, simply, or fully, but are meaningfully selective representations of some of its properties, in the light of a general theory assumed. Models focus on some aspects of reality, thereby necessarily caricaturing it. It is for this reason that “the price of employment of models is eternal vigilance” [13. P. 93].

That is also why the query “Is this society capitalist or feudal, etc.?” must be ever followed by two mental sub-clauses: “If so, in what sense?” and “What precisely do we learn and/or subtract from our perception by the use of this concept?”. Social reality does not conform fully into any logical mould. Models of social structure do not exhaust it and therefore do not exclude all other models. The validity of alternative models may coincide and their illuminations may cumulate.

The characterization of Russia as a “developing society” should be supplemented first by the answer to the questions of its additional characteristics of parallel significance. A way to begin is to categorize the characteristics of our case, that is, a society, a period and an international context, into the general, the typical and the unique. Put succinctly and limited to the most significant features only, those would be: for the general — capitalism, for the typical — a developing (or peripheral) society, for the unique (or specific) — the Russian state history, ethno-history and some of the characteristics of rural (i.e. the mass of the population) Russia.

The Russia of that day cannot be understood outside the context of capitalism and its “laws of motion” operating both internationally and intra-nationally. The most dynamic, richest in investment and most productive branches of Russian economy as well as of the international political economy, into which Russia linked as a junior partner, were capitalist in the sense attached to that term by the classical economists and by Marx. The major dynamics and axis of advancing social division of labor were bound to mechanization and to economic mechanisms of exploitation of wage labor. Within it the maximization of profits and accumulation of capital operated as a structurally overriding determination. The concept of extended reproduction by a capitalist mode of production caught such processes well, as long as one remembers the concept’s limitations and that not only economic but also social meanings are involved. While reproducing itself, the capitalist system invaded and transformed not only social structures of production but also those of class generation, ethnic consolidation, urbanization, changes in collective consciousness, etc. It operated not as an itinerary of those factors but as a powerful system, linked by the logic of institutional interdependence and aggressive capacity to spread.

There are two reminders that must be attached to this “drawing with a thick brush” of capitalist determinants in Russia. The impact of the state in societies where industrial capitalism had been advancing with particular speed since the middle of the nineteenth century was more noticeable than at the point of its inception. Simultaneously, the international characteristics of political economy advanced and deepened, to be recognized as a necessary aspect of capitalism. In consequence, the notion of capitalism came to differ substantially from its early formulations. Second, an admission of the speed and drive of capitalist advance does not equal the acceptance of a totally integrated

model and functionalist interpretations of it, that is, of its ability to transform everything after its own image, or to adjust it totally to its needs. The direction of social change cannot simply be deduced or extrapolated from it, nor is the logic of capitalism the only one available or operating. A “finger of Midas” principle by which everything capitalism touches turns capitalist, in actuality as well as in theory is unrealistic and misleading. So is the image of capitalism simply devouring past forms at its pleasure.

The unique/specific that most profoundly characterized the Russian social scene at the turn of the century and made its mark as its past within its present was represented particularly by the Russian state, ethnos and peasantry. The past can be understood here only in its linkage and response to the more contemporary social forms, the ability to re-adjust and to hold on. That being granted, past is indeed “tenacious ...never fully lost” [16; 35. P. 1221]. The power of the Russian state apparatus, its share of resources, its control over the population and its legal claims exceeded those elsewhere where capitalism was on the march. To categorize it as an intermediate form between European Absolutism and Asian Despotism offered an image of some descriptive strength, but little else. The term an “over-developed state” fits the case better but in a way that differs significantly from the original usage [2]. The Russian state was not initially the creation of eighteenth- or nineteenth-century colonizers; the significance of it becomes clear if we remember some of the shared characteristics of the two most significant revolutions of the twentieth century, the Russian and the Chinese. Those characteristics were an extensive size, massive peasantry and Western penetration but also a long history of a sovereign state apparatus now facing multiple imperialisms. Such coincidences are not usually accidental. The tsardom’s historical roots, international context and its military-political and economic organization made for its consistency and effectiveness. The European absolutism was reflected in it, as were the ‘Oriental’ vestiges and forms (especially if we do not discard the Golden Horde and consider Byzantium Oriental). But Russian tsardom was, to a degree that is usually understated, a sovereign Russian invention, building from the available institutional bricks new structures of control responding to specific conditions [16]. It was the socially constituted decline in these inventive and regenerative capacities that formed a major aspect of Russia’s political crisis.

Closely linked to the inception of the Muscovite State was the ethnogenesis of the Russians. Massive processes of consolidation and ‘extended reproduction’ of cultural patterns, language usage, fundamental symbols of identification and self-identification, as well as of related political loyalties, wielded together massive populations of Slav, Finnish and Turkish origins. The Orthodox church played a major role in the construction and the delimitation of the Russian ethnos. This homogeneity, once established, achieved a momentum of its own, to become of major significance for the history of mankind. It was central to the Russian state’s ability to rule not only by force but also through the mute consensus of the majority of the population and to tap and use its loyalties in times of crisis. The leading role of recent Soviet scholarship in attempting to unravel ethnic history as a particular dimension of social reality is not accidental: the relevance of this ‘problematique’ is deeply rooted in history as well as in the daily political experience of Russia/USSR.

Finally, during two centuries only, the Russian peasants moved all the way from the payment of tribute (legitimated by the need to fight off or to keep peace with the southern nomads and softened by high territorial mobility and strong communal organizations) to unheard-of levels of exploitation and cattle-like enslavement of more than nine-tenths of the Russians. Within another century came the emancipation from serfdom which made peasantry not only ‘free’ but landowning. The state played a decisive and explicit role in this and made the transformation rapid. As against all these fundamental changes, the centuries-old Russian communal structures were transfigured but survived. It was explained by the fact that the commune kept its major functions, inclusive of the only shield of popular liberty of the past. Other characteristics of peasantry held also, especially the operation of the family production units and the numerical pre-eminence of peasants in Russia. A massive majority of Russians lived within the peasant communes, which differed significantly from the rural communities typical of Russia’s neighbors, as well as its own Polish, Baltic, Caucasian and Central Asian internal peripheries.

It is only while stipulating the general and the unique tenets of the structure of Russian society that its categorization as a developing society’ and/or a political economy definable as a case of dependent development can be considered for the discrete insights it offers. The fundamental significance of classifying the Russia of the period in that way lies in the type of social tension, crises, subsequent dynamism and prospects such an approach indicates and the analytical categories it offers. Central to it are the typical contradictions of such countries’ political economy, the distinctive collective conflicts and the particular ideological/moral crisis linked to revolutionary agencies of change. It helps to map out and specify the context and the nub of the main forces and impacts that challenged the tsardom ‘from inside’ in 1900—1907 and were to play out the final power-game of the tsardom’s destruction in 1917.

The ‘Witte System’ [44] was intimately linked with a Witte-type crisis, which directly represented the characteristics of dependent development and closely paralleled much of what we encounter in Latin America, South Asia and Africa. The growing international debt and linked financial and technological dependence endangered long-term growth and made the whole national economy vulnerable and volatile, especially when facing international economic downturns or a war effort. State-supported industrialization facilitated severe crises of agriculture and of rural society, increasingly treated as a milking cow and a dumping place of modernization and growth focused elsewhere. Agriculture represented a large majority of the Russian labor force using archaic means of production, and locked within an economy where much of the potential investment fund was being removed by the squires, merchants and state. The need for broader internal markets to steady the local manufacturing clashed head-on with the short-term needs of taxation and the profit maximization by the most powerful capitalist interests. Frequent substitution of private entrepreneurs by state capitalism and by foreign banks led to the severe impediments. Between 1863 and 1914, the population doubled and so did the rates of natural growth, putting increasing pressure on the available resources. The super-exploitation of the mass of the producers linked economic growth to the polarization of the population, the poorer part of which showed an absolute or relative decline

of economic well-being. Urbanization, treated by the majority of Russian leaders and scholars as the long-term resolution of the problem of rural over-population, was inadequate for that as long as the growth of extra-agricultural employment was outrun by population growth. Spontaneous ‘vicious circles’ and ‘bottle necks’ within the Russian economy combined with the impacts of the state-and-foreign-capital strategies adopted and forcefully promoted by the government to produce a permanent economic and social crisis.

General crisis of economy and society does not translate directly into an actual social confrontation but those correspond closely and causally. At the highest levels of income there was in Russia what Thomas More has described in another time and age as ‘a certain conspiracy of rich men’, determined to become richer. Where the poor were concerned, Russian political economy was productive of overcrowded city slums where life was cheap, day-to-day survival harsh, and frustrations extreme. It was also productive of the growing hopelessness of villagers in the most populous part of rural Russia. These were reservoirs of poverty and class hatred ever arrayed against the manor houses and the nice quarters of well-being and respectability, behind the protective walls of the forces of order. Economic growth meant different things to Russia’s different sectors. In class terms, the old well-established wealth and the newly made fortunes were matched by the persistent poverty of the workers’ compounds, peasant villages and artisan teams. Some of the regions, especially the spoils of eighteenth- and nineteenth-century conquest, operated as internal colonies of the realm. The gaps were increasingly evident; a Russian would use for them the term *kolol glaza* — ‘it stabbed the eye’. This increasingly bred revolt also in the nice quarters.

The dependent development found its expression therefore not only at the general level of the economic flows malfunctions and transformations but also at the distinct dimension of class generation and conflict. The grand approximation of class analysis has been for a century the main method for the mapping out of fundamental social conflicts, mostly to make sense of the political life of the parliamentary democracies of Western Europe. The theory of political elites, be it Mosca or Pareto, run a clear second to them [12; 29; 30; 34]. A social class was defined as the major sub-group of the formally equal contemporary society. Common and discrete positions and basic interests within the system of political economy delimited it and made for distinctive consciousness, identity and self-identification shaped further by the conflicting relations with other classes. Social classes represented therefore objective as well as intersubjective phenomena, not only a set of determinants rooted in political economy (and resulting in typical tendencies of behaviour by individuals) but also as actual collectivities recognizing themselves as such and with different degrees of ‘classness’ [5; 32; 37].

The class map of the societies caught within dependent development differs from that of mid-nineteenth-century Western and Central Europe, where class analysis was born. That is why, when transplanted directly from one to another, it often tends not only to approximate but to mislead. As for Russia in the 1890s to 1917, the disarticulated system of political economy meant different processes of class structuring operating side by side. There were the main pre-capitalist social classes which, while chang-

ing in a number of ways, retained cohesion, many specific characteristics, and substantial numbers: the squires and the peasants. There were the capitalist classes with particular extra coloring: the entrepreneurs with a strong mercantile rather than industrialist flavor, and the industrial wage laborers, with strong peasant connections. There were important inter-category groups, for example, peasants who were part-time construction workers or some large landlords carrying pre-capitalist titles in service of capitalist enterprises. There were finally the classes specific to the societies discussed, or, at least, firstly recognized within them.

Some of the historians of Russia have resolved this complexity by a neat model of four social classes representing the semi-feudal/semi-capitalist nature of society, that is, the squires and the peasants surviving from feudalism and rubbing shoulders with the capitalists and wage workers of the brave new world [33]. This extended the two-class societal models in a way which was relevant but insufficient. To improve on it one must consider in which way such classes differ within the dependent development context, to extend further their list and to review the parallel and different social conflicts of major significance. Here is the typical historical curve of working-class militancy: from the relative conservatism of the days of the manufacture, via a peak in the early stage of industrialization and towards decline as industrialization diversifies it and the service industries grow [41; 49]. Somewhat later Wolf discussed the second wave of peasant militancy stimulated by early confrontation with capitalism [17. P. 221—228; 27; 28. P. 201—205] (another way to approach the issues of the extent of classness is to accept a one-class system as widely spread for reasons, and in the terminological context [16; 47. P. 354—357]. The point is that these two radical potentials tend often to meet for a time within the context of dependent development. On the other hand, a new hierarchy is established within the ‘plebeian camp’, limiting its ability to act collectively. Workers of the large-scale industries are usually capable of self-organization but they do not represent the ‘lowest of the low’. As against the peasants and the unskilled half-employed and marginal workers, the skilled and semi-skilled industrial working class is a relatively privileged minority. Below them stand men without a steady job and income. Beneath these are the racial minorities, women and youngsters. Outside the industrial centers are the villages from which a steady stream of unskilled labor proceeds to come into towns to join the unskilled labor and the slums or poor quarters.

The exceptional power of the state, the extensive nature of its economic grip as owner, producer, employer and controller of resources, combined with the peculiarities of modern (i.e. Western-style educational and bureaucratic) structures to produce two more types of class-like entities whose interdependence and modus operandum lie not in political economy as classically defined (or, at least, not only in it). That is particularly important if we keep in focus not only the general consideration of social conflict and class relations but also the social actors, practical knowledge of society and conscious intentionality of action. The social structuring of the top ranks of the state hierarchy was determined by interests and logic of operation defined differently that of profit-maximization and production, but establishing all the same consistent group interests, structural conflicts of interest with major social classes, typical patterns of cognition and

specific ideologies expressed as the sectional interests of the state functionaries but, more often, through the concept of national interest.

The link between the Russian bureaucrats with the squires was significant but decreasing. For the Russia of the period, the university diploma or its equivalents were becoming the necessary passport into the middle and top ranks of the state bureaucracy and into the army officer corps. In this way the personnel of the state apparatus overlapped increasingly with that of the educated stratum, a social characteristic it has shared, paradoxically, with Russia's most ferocious critics of its social order — the intelligentsia. However, origins cannot substitute for the main determinants of any class analysis worth its name, that is, for the study of prevailing economic group-interest, typical ways of personal enhancement, and the consequent political and ideological expression. In all these, clear particularities were displayed by the officialdom of Russia.

In its classical form, class analysis had adopted the view that while other types of social conflicts exist they are inferior to and/or utilized by class conflict in determining social relations, in the construction of the collective consciousness and in the establishing of political camps or alliances. This was often enough but not always so. In particular, the ethnic divisions have often proven in Russia as significant as class conflict, or more so, in the defining of political camps. On the other hand, when ethnic patterns have corresponded with occupational divisions, this has resulted in ethno-classes of particularly mobilizing and defining force (e.g. the Polish nobles, the Russian bureaucrats, the Belarus peasants and the Jewish craftsmen in the north-west of European Russia).

Parallel to the general crisis of the Russian political economy and the growing and increasingly explicit conflict between major social groups was an ideological/moral crisis expressed in perceptions, concepts and values. At least to begin with, it found its main carrier and form of expression in the assault on the tsarist state by the Russian intelligentsia which judged it inadequate by the standards of progress, justice and national interest. The creation of a Western-educated elite was the result of diffusion of what was defined as science, knowledge and modern education. One cannot treat it simply as an educational phenomenon, for it related knowledge and assumptions drawn from industrial societies to the peculiarities of the social structure of a developing society. The cultural heritage and the intellectual training made the Western-educated elite into a group of outsiders in their own country, divided both from the plebeian mass of the population and the traditional power holders in it.

Inter-Russia processes added to this group particularization. Commitment to 'rationality' and 'modernity' defined in the light of the experience of Western Europe (of which they were acutely if often inaccurately aware) put educated Russians at odds with their direct environment. On the personal level, there were several possible ways for resolving the consequent conflict. The acceptance of reality, that is, a job in the administration or else in the free professions, was one. Emigration was another. The withdrawal to one's 'Cherry Orchard' estate was a time-honored way for an alienated squire. All these solutions were both objectively and subjectively limited in the context of Russia. In the middle of nineteenth century, a growing number of Western-educated Russians

had found themselves within a particular marginal position. Theirs was the world of writings, read and produced, a territory-less purer part of Russia, a ‘republic of letters’. They were emerging as a social grouping, self-recognized and recognizable as such. Their ranks were increasingly swelled by sons of social classes/estates different to that of nobility, that is, children of clergy, urbanites from a mixed background, the carrier-seeking members of ethnic minorities (often restricted in the choice of the official occupation, e.g. Jews, Poles and later the Baltic Germans), even a few peasants — a mixed group that came to be referred to as *raznochintsy*, i.e. “men of different ranks”.

Characteristically the word “intelligentsia” was introduced via Russian into other languages [8; 19; 22; 27]. Formal definitions have related it mostly to mental labor and university training. Its nature and functions can be understood only while related to the broader social context, that is, in our case that of dependent development and of the highly repressive state. Conscious self-identification and positioning vis a vis different social forces were particularly significant here. Despite their university training and characteristically ‘mental’ labor, the managers of the Russian state and much of its economy were excluded, and excluded themselves, from Russian intelligentsia. The same was true for most of the army officers and the mass of the Russian clergy (which received its education in the religious seminaries and academies). On the other hand, most of the Russian liberal professions and many of its best engineers or agronomists would see themselves definitely as part of it. So did the majority of Russian revolutionaries in the nineteenth century. At the core of this group and most influential within it were the Russian men of letters, its writers, poets, dramatists and ‘publicists’ (i.e. the more thoughtful journalists). The nature and the prevailing mood of the intelligentsia was dramatically yet accurately described by I. Berlin: “it did not mean simply educated persons. It certainly did not mean intellectuals as such ... the Russian intelligentsia, because it was small and consumed by a sense of responsibility for their brothers who lived in darkness, grew to be a dedicated order, bound by a sense of solidarity and kinship. Isolated and divided by the tangled forest of a society impenetrable to rational organization, they called out to each other, in order to preserve contact. They were citizens of a state within a state, soldiers in an army dedicated to progress, surrounded on all sides by reaction. ...In the land in which the intelligentsia was born, it was founded, broadly speaking, on the idea of permanent rational opposition to the status quo, which was regarded as in constant danger of becoming ossified, a block to human thought and human progress [6].

Two more short citations from the tsardom’s top dignitary and Russia’s foremost writer can supplement that picture. From the memoirs of Witte: “The tsar [*gosudar*] has once remarked at the dinner table ...that one should order the Academy of Sciences to remove this word [intelligentsia] from the Russian dictionary”. From Bulgakov’s *The White Guard*: “You are a socialist, are you not? Like all intelligent people” [48. P. 328]. The particular ‘marching army’ of this group were the university students, inclusive of the permanent ones (i.e. those who were unable to finish their education but held on to the university environment and formed a community around it). The universities and the colleges for advanced training (i.e. Forestry, Engineering, etc.) provided

a natural base for organization. In a condition involving the illegality of any opposition and with every social club or organization supervised by the authorities, a base where young intelligentsia could organize itself and ‘talk things out’ was increasingly important and their conflict with both state and university authorities endemic. They were linked closely with young intellectuals engaged in the occupations of ‘service to the people’, especially teachers, medics, *zemstvo* agronomists, etc.

The Russian intelligentsia confronted directly the state apparatus. Its top bureaucrats have seen themselves as acting to enhance Russia’s international standing, promote its economy and secure the eternal promise of the Russian autocracy. That had to be done by controlling and containing the two explicit challenges of capitalism and of intelligentsia with a third threat, one of popular revolt, looming in the background. The growth of capitalism disrupted the familiar ways of ruling and administrating. The initial policy of simple incorporation of new technologies, stripped of their disagreeable social and political characteristics (i.e. ‘Western’ weapons but no ‘Western’ constitutional rule), was increasingly difficult to execute. Not only education but the co-operation of the educated was needed. Yet a major sector of the Russian educated stratum was locked in growing conflict with the tsardom and its officials.

This was well expressed in the very transformation of the term ‘intelligentsia’ from a value-neutral description of individual capacity or intellectual attainment, into the synonym of bitter social criticism and moral condemnation of the state and its dignitaries. Any outward sign of comfort given or co-operation with the state bureaucracy was treated as treason or corruption. The counter-culture of the intelligentsia took particular pride in refusing to serve the state or capitalist entrepreneurs in any capacity and especially in major issues of social hegemony and ideological control. (As for the bourgeoisie, N. Mikhailovskii had declared in the 1880s to universal acclaim that “the Russian intelligentsia would and should be ashamed of marching in step with it” [28. P. 205]). Apart from a few exceptional periods (when these attitudes shifted under the impact of a nationalist wave triggered off by war or by the Polish ‘mutinies’) (for example, the patriotic frenzy led by people like the ex-liberal M. Katkov that swept the Russian society during the Polish uprising of 1863 and led to the collapse of the influence of Herten’s journal-from-abroad which refused to submit to it) the Russian intelligentsia faced all brands of the Russian establishment as a hostile force. What made this stand out even more sharply, was that the intelligentsia was opposed directly by senior and middle-range bureaucrats who often came from similar social backgrounds and educational establishments. But most of the state dignitaries were increasingly at a loss as to how to deal with the new times: with ‘subjects’ who expressed ‘opinions’, merchants who were not humble, peasants who wandered around, cities that ‘exploded’, Jews who resided in Petersburg, Finns who claimed autonomy, but especially so with the highbrows who spent their time denouncing the rightful authorities and even the Most Sacred Person of His Imperial Majesty. In the latter part of the nineteenth century the state was increasingly challenged by disruptive forces and at their core the spontaneous processes associated with capitalism and the conscious revolt of the intelligentsia.

As a silent background and a potential arbiter to the unequal duel in which intellectual fireworks and personal sacrifice of Russia's brightest young men and women faced the crass obstinacy and the seemingly overwhelming strength of those who ruled Russia, stood the Russian plebeian masses. It was the struggle for their hearts and minds that formed the crux of the political history of the Russian tsardom and was to define its abrupt end in 1917.

In 1862, a sequence of five Unaddressed Letters was written in Russia. Their dramatic significance lies as much in their symbolism and setting as in their content. Despite the title, and indeed accentuated by it, was the fact that the addressee was manifestly known. It was the Emperor and the Autocrat of all Russia, Alexander II, 'the Emancipator', at the Winter Palace. The sender's address was nearly as famous and as symbolic. It was the Peter and Paul fortress-prison of Petersburg that held Russia's most dangerous political criminals. The author was Nikolai Chernyshevskii, Russia's 'man of conscience' and foremost writer on politics, economics and aesthetics. A self-taught, dour and stubborn man of extensive knowledge, little *savoir-vivre* and unbending moral convictions, he well represented the *raznochintsy*, the first generation of Western-educated Russians not to come from the nobility. (Typical of many of them, Chernyshevskii was a cleric's son from a provincial town, i.e. Saratov, of past and future revolutionary fame.) He was careful not to break any laws and did not belong to any political organization. He used his pen to oppose with the full strength of his convictions the way Russian society and state functioned and, despite the harsh hand of the censor, attacked it time and time again, clearly if indirectly, in the journal he edited — the Contemporary (*Sovremennik*).

Despite remaining within the law, Chernyshevskii was arrested and spent two years of preliminary confinement in the fortress. While his judges struggled with the regrettable lack of proof of actual law-breaking, he wrote his Unaddressed Letters and a didactic novel entitled *What is to be Done?* about new men and women, on which generations of Russian intelligentsia were to be educated. He was eventually convicted of high treason and sentenced to life imprisonment with hard labor in Siberia, never to regain his freedom. With fine understanding of the symbolism of the occasion, his judges sentenced him also to a 'civil execution': on a grey morning he was taken out of prison to have a sword broken over his head by a hangman, signifying loss of all rights and privileges, and then transported directly to Siberia. The Unaddressed Letters were banned by the censor as were (following his sentence) most of his writings, but they circulated hand-to-hand inside and outside Russia. In 1873 another rebel, writer and social theorist, unknown to Chernyshevskii, read the Unaddressed Letters in his English exile and was sufficiently impressed to have the first of them personally translated and to promote their publication. The translator's name was Karl Marx, and with as keen a recognition of the man's worth as that of the judges in Petersburg he was to refer to Chernyshevskii admiringly in the second edition of *Capital* in 1872 as 'that great Russian scholar and critic' [38; 42].

The significance of the Unaddressed Letters is, however, not only that of the charged symbolism of their political setting. Their theoretical content has stood remarkably

well the test of time. There were two major components. The bulk of the argument was a systematic denunciation of the way 1861 emancipation reform was carried out, making clear how little it actually resolved the peasant's plight, how much it was hedged and twisted by the bureaucracy and why it would eventually lead to a plebeian revolt against all the Russian upper classes stood for, good and bad alike. Second, the opening Letter addressed the general social context of the debate and of the political conflict in contemporary Russia. It recognized a fundamental socio-political division of the Russians into three groupings very different in size. A remarkably apt anticipation of political divisions of Russia half a century later, Chernyshevskii's insights were also deeply relevant for other countries and for generations to follow. He had this to say to the tsar: "You are displeased with us: Let that be as you choose: no one can command their feelings, and we are not seeking your approval. Our aim is a different one, which you probably have as well: to be of service to the Russian common people (*narod*). Consequently, you must not expect real gratitude from us, nor must we from you, for our respective labors. A judge of them does exist, outside your numerically restricted circle, and outside even our circle which, though far more numerous than yours, still represents only a negligible fraction of the tens of millions of people whose welfare we and you would like to promote. If this judge knew all the facts of the case and could deliver an assessment of your labor and ours, any explanations between you and us would be superfluous. Regrettably, this is not the case. You, he knows by name; yet being completely alien to your mental universe and your milieu, he certainly does not know your thoughts or the motives, which guide your actions. Us, he does not know even by name. ...You tell the people: you must proceed like this. We tell it: you must proceed like that. But in the people's midst, almost everyone is slumbering. ...The truth is equally bitter for you and for us. The people does not consider that anything really useful to it has resulted from anyone's concern about it. We all, separating ourselves from the people under some name or other — under the name of the authorities, or under the name of this or that privileged stratum; we all, assuming we have some particular interests distinct from the objects of popular aspiration — whether interests of diplomatic and military power, or interests of controlling internal affairs, or interests of our personal wealth, or interests of enlightenment; we all feel vaguely what kind of outcome flows from this complexion of the people's view. When people come to think: 'I cannot expect any help in my affairs from anyone else at all', they will certainly and speedily draw the conclusions that they must get down to running their affairs themselves. All individuals and social strata separate from the people tremble, at this anticipated outcome".

The five Letters of terse prose analyzing and condemning the inadequacies of the 1861 emancipation of Russia's serfs were concluded as follows: "I am aware, dear sir, that I have broken the rules of propriety in thrusting myself with my explanations upon a man who had in no way asked me for them; so it will be no surprise to you if I do not adhere to those rules at the conclusion of my correspondence either, and do not sign in the customary way "always at your service" or "your most humble servant" but sign simply N. Chernyshevskii". Within a year he was serving his sentence of hard labor for life in Siberia.

Chernyshevskii's text as well as his life story represented a new political map and a new type of dissent. His text described and analyzed a social world twice divided. First, it was split into the politically mute plebeian world (the 'common people' — *narod*) as against the extremely thin layer of polite society, the educated, the potential rank-holders, those better off who could also write to each other and dance with each other at social occasions, those who counted. They were well separated from the plebeian mass by a protective wall of the army, the police lower ranks, the lower clerks, clerics and bailiffs, the NCOs of Russian society. Second, those better off and educated in the Western sense were divided in turn by their own images and standards as much as by their formal status, into, on the one hand, the official Russia of top rank-holders (*sanovniki*) and of the upper-class 'world' (*svet*) (i.e. the tsar's closest social environment). On the other hand, (but partly overlapping) stood those whom the Russians called 'society', that is, those with claim or pretence to spiritual depth, to the understanding of social relations, and appreciation of science, of arts and of progress — the public opinion of the day, critical of 'official Russia'. The *raznochintsy* played an increasingly important role in that milieu but frequently they were children of 'the empire's first estate' of the nobility. These people, or at least the politically more conscious of them, came to be referred to increasingly as *intelligentsiya*. They were particularly sensitive to the leading men of ideas (*poveliteli dum*) of every generation: its poets, its writers, its theorists, its secular moralists and its dreamers. It was the moral leadership of this group that in the 1850s and 1860s sat heavily on the shoulders of Chernyshevskii as well as of Herten, Belinskii and a few more, making them consequently hated and adored. It was for that honor that Chernyshevskii paid by his life sentence in Siberia. The gendarmes and bureaucrats who had Chernyshevskii sentenced were right in sensing a new and powerful threat.

Russia has had its share of 'old dissent', which in essence belonged to the days of Muscovy and the commencement of the empire. There were centuries of plebeian struggle in defense of the 'old rights', that is, the partly imagined and partly true memories of times when a commoner was free of servitude and bondage. The encroachment of officers and nobles, clerks and clerics, the whole Draconian and crushing power of the state, had been resisted generation after generation in a long sequence of battles and some major peasant and Cossack wars, which were all eventually lost. Since the death by torture of Pugachev and his main followers in 1774, the 'official Russia', that is, the state and the church, the bureaucrats and the nobles, had for a period of 125 years ruled the ocean of under-dogs with relatively few ripples. The imperial wars and conquests had derailed some of the class conflicts, channeling into nationalist moulds the energy of protest, but also added new groups of those who were not Russian to the camp of resistance. Their struggles for ethnic rights spanned the 'old' and the 'new' dissent and were at times allied to both. They also failed or, at least, so it seemed by the end of the nineteenth century.

Europe knew another type of 'old dissent', for a time much more productive of actual political results and social transformation than the plebeian struggle and the peasant wars. The dominant class of warriors and/or squires confronted kings and dignitaries

in a constant tug of war over power and privileges. They have often lost when royal mercenaries (usually with the help of the burghers), reduced the nobles to submission. At times, it was the nobles who reduced kings to the status of figurative heads of state, the ‘first among equals’ of the nobility social estate. Deputies of nobility elected kings and imposed treaties in Poland and Hungary. Since the early Romanovs such ideas constituted treason and were effectively curbed in the tsardom of all Russias. Its *Zemskii sobor*, an assembly of deputies of ‘estates’, had disappeared from the scene by the seventeenth century. The municipal freedoms expressed in *veche* had been reduced even earlier. The boyars and the dvoryane of the Moscovite grand dukes were from inception courtiers and servitors rather than princelings or a ‘nation’ of an organized and autonomous social estate, claiming its rights and liberties. Their ‘class organizations’ established by Catherine II’s Charter of Nobility were disjointed and limited in scope.

The new type of dissent was initiated by men of knowledge, of ideas and of moral values, that is, those who, as a Russian contemporary would put it, ‘had a soul’. To ‘have a soul’ was to seek justice and to accept values higher than obedience to the state authorities. The knowledge and ideas in question were new in texture by being secular, general rather than pragmatic, dealing with humans rather than with ‘things’. Those men were without exception stimulated (at times negatively) by the writings, views and moods of Europe (i.e. not Russia). Not quite children of the Renaissance, because the Reformation and the scientific revolution of the seventeenth century were not realized in Russia, they were, figuratively speaking, their ‘nephews’, that is, the once-removed kinsmen related via the European social philosophy of Enlightenment as expressed in particular in the nineteenth-century writings of Schelling, Hegel, Fourier and Feuerbach.

The voice of the new dissent was first heard under the long rule of Catherine II, which saw also the Charter of Nobility and the execution of Pugachev. Its first lonely harbinger was, arguably, Alexander Radischev. As in the case of Chernyshevskii, his biography aptly represented the general political context of the Russian tsardom of his day. An enlightened nobleman who had studied at the University of Leipzig and travelled extensively abroad, and a state official afterwards, he published in 1790 a volume entitled *Journey from St Petersburg to Moscow* which followed in form a contemporary European fashion. The book offered a bitterly eloquent critique of serfdom and of the management of the country on all levels. It was passed by the censor but enraged the Empress who, according to her secretary’s memoirs, “has most graciously commented that he is a rebel, worse than Pugachev” [10. P. 78]. Radischev was tried and sentenced to execution, which was eventually commuted to life exile in Siberia. Permitted to return after Catherine’s death, he was appointed to one of many committees considering administrative reforms but rapidly ran afoul of its chairman. Threatened by renewed imprisonment if he did not ‘learn how to behave’, he committed suicide in 1802.

During the nineteenth century, the new dissent recorded several more ‘firsts’. In the 1820s came Russia’s first attempt to active ‘modernizing’ reforms by a military coup d’état. The 1812 march to Paris in the wake of the Napoleonic Wars had left a powerful impression on the young officers — in those days, Russia’s foremost group of educated nobility. The high hopes for major reforms under Alexander I were disappointed. As a

result, a variety of secret societies sprang up. Most of their members were army men. Their creed, size and cohesion differed, but uniformly they craved for constitutional government and the abolition of serf-dom (The social reforms envisaged by members of the secret societies varied from the radical and centralist (often referred to as ‘Jacobine’) program of P. Pestel’, who led the movement in the south, to the milder suggestions of N. Muraviev, the leader of the secret societies in Petersburg). Klyuchevskii has caught well a particular intelligentsia aspect of their mental outlook: “whereas ... fathers have been Russians educated to become Frenchmen, the father’s sons were French-educated men longing to become Russian” [25. P. 172].

Many of these conspirators were sons of Russia’s most prestigious hereditary and landowning nobility. Russia’s foremost poet, Pushkin, publicly expressed sympathy for their views, without actually belonging to one of the societies. The rebellion broke out prematurely, triggered off by arrests and a crisis of succession that followed Alexander I’s death. In December 1825 (hence the nickname Decembrists given to its organizers) troops that were never quite told what the upheaval was all about, were led into the streets of the capital by their officers — members of the secret societies. The rebellion in Petersburg and in the South was quickly defeated by loyalist troops. Five of its leaders were executed and many more exiled to Siberia. The execution of Ryleev, a promising poet and a civilian, provoked Poland’s foremost poet Mickewicz’s stinging description of Russia as “a land which murders its prophets”.

The next ‘first’ was the essentially secular and ‘sociological’ debate about the nature of Russia in its relation to the West: the debate between the Westerners (*Zapadniki*) and Slavophiles. It began in the 1830s, triggered off by the Philosophical Letters of P. Chadayev, a personal friend of many Decembrists, who in the wake of their defeat and under the heavy hand of Nikolai I declared that Russia belonged neither to the Western nor the Eastern civilizations, nor did not it represent a civilization of its own; it was ‘an intellectual lacuna’. In the furore that followed, the tsar personally ordered Chadayev to be considered mad and had him repeatedly subjected to medical inspection. Abuse flew freely also from less official sources, but a debate was launched, its participants dividing into two major camps. Those who considered Russia backward and called for modernization, understood as Europeanization, came to be referred to as Westerners. Peter the Great was their hero, commencing a process that now required to be completed. As against them, the Slavophiles believed in the uniqueness of Russia’s social and spiritual nature and destiny, different from and superior to what Europe had to offer. They subsequently idolized pre-Petrine Russia and considered the German-infested bureaucracy, set up by Peter, to be the main obstacle to the natural harmony between the autocrat and the people that would have prevailed otherwise, with Orthodox Christianity offering its norms. They were deeply counter-revolutionary, and, while advocating freedom of speech and the revival of Zemskii Sobor, objected to constitutionalism and Western parliamentary rule. V. Belinskii was probably the most outspoken and influential of the Westerners while the Slavophiles were well represented by A. Khomyakov and by K. Aksakov [1; 4; 6; 21; 26]. Both groups were critical of Russia’s actuality. Despite the conservatism, religiosity and monarchism of the Slavophiles, their writings and journals were subsequently frowned upon and often repressed by the censorship.

Finally, the most important ‘first’ of the new dissent was the creation of revolutionary populism — Russia’s first indigenous socialist ideology and movement. Its main theorists were Herten, Chernyshevskii and Lavrov and its most powerful political expression was the People’s Will party (*Narodnaya volya*). The movement was also influenced by the views of Bakunin and Tkachev, but never fully identified with them [6; 24; 38; 42; 46]. It was Herten who commenced the particular theoretical position associated with Russian populism. His views evolved from initial Westerner assumptions, through a critical analysis of Western Europe and of the 1848 revolution. From the outset he refused the Slavophile mystical and religious belief in intrinsic Russian peculiarities, but eventually was not prepared either to treat Russia simply as a more backward equivalent of Western Europe. To Herten, Russia was not unique or ‘spiritual’, but its social structure and potentials differed from Western Europe in a manner to be taken into consideration in the shaping of its socialist future. The fact that Russia could draw on the West European experience was new. The legal equality and constitutional rights the Russian liberals were beginning to demand had already proven insufficient. Herten was akin to the West European socialists and considered one of them in demanding social equality and the full emancipation of the exploited classes which would become the masters of a better world. In the Russian context, that meant the destruction of serfdom and the rise of the peasantry. Chernyshevskii, and later the Land and Liberty movement, were to adopt all those positions but to represent them inside Russia (Herten emigrated and set up Russia’s first ‘free press’ in exile). These ‘populists of the interior’ were to develop Herten’s initial analysis further and to add the blaze of martyrdom, of direct action and, eventually, of revolutionary struggle.

There was considerable originality in the way populist theorists and their movement approached the future of Russia. They assumed the possibility and desirability for Russia to bypass the capitalist stage and to proceed directly to a socially just society. This view and preference was rooted in the concept of ‘uneven development’ — a radical departure from the prevalent evolutionism of the day, first suggested by Chadayev. Not Russian uniqueness or supremacy but rather the global context of Russian history would lead to an alternative path of development. The advance of industrial capitalism in Western Europe was central to it. On the other hand, the fact that the peasant commune, by now dormant in Europe, was still operative in Russia, could and should be put to use in the building of the new just world. To Herten, while Western Europe must progress from the political liberties achieved and from the rampant individualism of the capitalist society towards growing communality of the social structure, peasant Russia should keep its communalist structure while advancing towards liberty, to meet at socialism’s junction. Put in the Hegelian idiom of the day by Chernyshevskii, the ‘synthesis’ of the future world would therefore resemble the initial ‘thesis’ of pre-capitalist and pre-class communities rather than its capitalist ‘antithesis’. Tsardom’s obstinate conservatism defined the revolutionary nature of the social transformation due to occur.

Without being fully accepted by the Russian populists, the writings of Bakunin had stimulated in their ranks a belief in mass spontaneity, an insurrectionist ‘mood’ and a particular hostility towards state centralization. Later, the writings of Tkachev came to exercise an opposite influence in so far as revolutionary action was concerned, stress-

ing the significance of Jacobin centralism and of resolute minorities in revolutionary confrontation was well as the significance of the time factor: to delay a revolution might mean losing the chance to bypass capitalism in Russia.

The theorists of revolutionary populism considered the stardom Russia's main capitalist force, representing not only a 'Mongol-like oppression', but generating, linked with and maintaining capitalism and capitalists. The state and state apparatus were central to the populist social analysis and designation of enemies. As against its power and capitalism-inducing strategies, the populists put their trust in the laboring class, which to Chernyshevskii included 'peasants, daily laborers and permanent wage workers' (it was to become peasants, workers and intelligentsia in later populist writings), united by the common enemies. It was the class war (with classes differently defined than in Marx or in Ricardo) that was eventually to transform Russia. Populist demanded not only parliamentary democracy but social equality. Since the nature of the main enemy entailed a repressive political regime and a social regime of inequality, both embedded in the state, it meant a necessarily combined revolutionary struggle for liberty and social justice. The goal was to establish a socialist Russia [38. P. 43—48, 69—71, 206—207; 46].

A point to remember in view of the 'brainwash' of the latter generations, the Russian populists of the 1860s and 1880s were socialists in their own eyes as well as those of Western Europe. When resident in Western Europe, they joined as a matter of course the local socialist parties, edited their newspapers, were active in the 1st International. Its Russian section (located in Switzerland and led by Utin) consisted fully of populist émigrés, followers of Chernyshevskii. It elected Marx as its representative on the General Council of the International which he accepted with manifest pleasure. The leaders of the People's Will kept contact with French, German Polish and British socialist parties and were in direct relations with Marx in London. Friendship and appreciation between Marx and the People's Will were often mutually expressed the differences of approach were acknowledged and treated by both sides as deriving mostly from the Russian particularities [20; 38; 46]. It was Lavrov who 'on behalf of the Russian socialists' offered the eulogy read-out on Marx's grave. As a member of the 1st International, a founding member of the 2nd one, and a participant in the Parisian Commune, he well represented the living link between Marx, the West European socialist movement and the Russian revolutionary populism.

Finally, the Russian populists offered a set of images and views that linked what would be today treated as 'social sciences' with a different type of discourse and was described (and badly misnamed) as 'subjective sociology' [6; 24]. It was a combination of social, psychological and ethical considerations about the place and duties of the intelligentsia in an oppressive and changing world. The issue of the two meanings of truth (*pravda*): truth as realism (*istina*) and truth as justice (*spravedlivost'*), was part of this debate. So was the place of ascetism as radicalizing simplicity and of revolutionary activism as a way of life. The later terminology of professional revolutionaries and cadres within Leninism stemmed directly from these views. So did the belief in the educating and purifying force of revolutionary experience in the creation of new men and women. Conceptually, those views related the populist creed to an analysis of the

role of ideas in history, enhancing their weight and offering a rationalist and libertarian theory of social advance. Most importantly it was a call for action.

By 1873, the views of the theorists and discussion within clandestine circles were transformed into a political movement of growing coherence and numbers. The appeal of the theorists were reacted to by hundreds of young men and women who, in the summer of 1874, left the comfort of their well-endowed families to ‘go to the people’, that is, to go to the villages to propagate the populist cause among the peasantry. They were met with bewilderment by the peasants, denounced, and rapidly rounded up by the police. That was not the end of the matter, however. The radicals drew conclusions from their failure and reformed accordingly. By 1877, a new wave of populist propagandists went into villages. This time, most of them had trained beforehand in skills useful to the peasants: carpentry, metalwork, etc. They came now to settle permanently and in larger groups — ‘colonies’ — and were more ready for a long and slow haul. They established also an effective national organization, the Land and Liberty, with a network of clandestine branches and printing presses all through European Russia.

By the end of the 1870s, the populist movement reached its next stage. The results of the work in the villages were still barely to be seen. The authorities were fairly effective in precluding the attempted political re-education of the peasantry. In the populist ranks arrest followed arrest. The majority within the Land and Liberty leadership concluded that the state’s oppressive power must be broken first, before the spiritual emancipation and social transformation of plebeian Russia could be proceeded with. In their own words, “Social reform in Russia is revolution. Under our political regime of absolute despotism and denial of the right and of the will of the people, reform can be only achieved by a revolution”. This new insurrectionist strategy was objected to by a minority that wanted to proceed with the movement’s earlier village-centred approach (the *‘dereven’schiki’*). In 1879, the two wings parted company. The majority established the People’s Will Party, the minority formed the Black Repartition organization, each of them with its own clandestine journal that took its name from the organization it represented.

The People’s Will rapidly outpaced its rivals and for a few years came to dominate the Russian political scene. They shifted their ‘cadres’ into major towns, moving rapidly and effectively to organize army officers, workers and students for an insurrection. Immense energy was shown in establishing clandestine networks of new organizations, printing presses, etc. Wage workers rather than peasants were now considered central in the immediate battle but not because of the intrinsic socialist qualities of the proletariat but for tactical reasons, that is, their concentration at the urban centers where the political power lay. In accordance, a particular ‘workers program’ was prepared, ‘workers circles’ set up and the first Russian newspapers specifically aimed at the urban wage workers were printed. An adopted ‘tactic of terror’ against the top dignitaries of the state led to some of the People’s Will’s most spectacular exploits. It aimed to ‘shake’ the tsardom and its leaders, to break their confidence and the totality of their grip. The People’s Will hoped that, pursued with sufficient energy, such attacks would make the government forces retreat or waver, and wake the mass of the people from their political slumbers,

destroying the belief in the irresistibility of the state. The Executive Committee of the People's Will, both a national leadership and a top organization for terrorist action, adopted as its direct aim the killing of Alexander II.

In the confrontation that followed, the People's Will was eventually defeated. The initial impact of the organization had led to a considerable panic at the top (the establishment of 'dictatorship' of General Loris-Melikov, etc.) [50. P. 254—271]. In 1881, the People's Will succeeded in killing Alexander II, but no popular insurrection followed and most of the Executive Committee members were imprisoned and/or executed within a year. The party re-formed, establishing new leadership, which in turn was arrested. Then, the powerful Military Organization of army officers who joined the People's Will, preparing for the possibility of a military uprising, was destroyed by betrayal and arrests. New executions, imprisonments and exile followed. In 1884 came one more major attempt to re-establish the People's Will's national structure by G. Lopatin, a member of the General Council of the 1st International, and Marx's personal friend. It was crushed by a new wave of arrests. For all practical purposes that was the end of the party of People's Will. The last localized attempt to renew and proceed with its action took place in 1887, when a group of students, who adopted the name of Revolutionary Fraction of the People's Will, attempted to kill Tsar Alexander III. It ended, once again, in arrests and the execution of its participants, who included Alexander Ulyanov, Lenin's elder brother [38; 40; 42].

The continuity between the generations of the Russian new dissent was considerable, at times implicit yet ever powerful, enhanced by personal contacts and intimately related to Russian literature. Many of the social theorists of Russia were poets, novelists or literary critics; indeed, the very division between types of writing was never clear. Pugachev, who led his Cossack and peasant rebels when Radischev was a young man, was first described in realistically human terms by Pushkin, who befriended the Decembrists and exchanged with their prisoners in Siberia poetic messages, all of the educated Russians knew by heart. His closest personal friend was Chadayev, the author of the 'Philosophical Letters'. It was also Pushkin who initiated the journal *Contemporary*, which was eventually edited by Chernyshevskii and suppressed with his arrest. The young Herten had admired the Decembrists while the young Chernyshevskii has said that he "admired Herten more than he admired any other Russian" [42. P. 140] and explicitly set out to follow his tracks (they clashed eventually, but that came long after Chernyshevskii's 'formative period'). The name of the Marxist newspaper *Iskra* was taken directly from the Decembrists' poetic answer to Pushkin, while Lenin took the name for his book devoted to party organization from Chernyshevskii's novel *What Is to Be Done*, which he admired. A memorial column to the founding fathers of Russian socialism was erected in the first flush of the Bolshevik victory and still stands in the Alexander Park next to the Kremlin. The names, allegedly Dostoevsky (to be judged by the impact of his prose rather than by his political views), selected by Lenin, run from Marx to Fourier and end with Chernyshevskii, Lavrov, Mikhailovskii and Plekhanov. In truth one should have added here literary figures such as Tolstoy, Nekrasov, Chekhov and, of course, Pushkin, whose memorial, nearby in Moscow, reads: "And long my

people will remember me for my gift has served the right affections, in this cruel age I glorified liberty and called for loyalty to the defeated”. The third line was initially “Following Radischev I glorified liberty”, but was sacrificed to the gods of censorship. The Russian intelligentsia well knew its history and, through it, knew themselves.

It was the defeat of the People’s Will that set the internal political scene of Russia in the two decades beginning from the middle of the 1880s, that is, the period that preceded the 1905—7 revolution. The drama of rejection of the first wave of young populist idealists by the peasants, the gallows, prisons and exile that followed and decimated a whole generation of activists, the immense sacrifice that ended in total defeat and a conservative backlash of the ‘counter-reforms’, were never forgotten by the Russian political opposition. Yet, on the other hand, the knowledge of it caused many latter-day observers to underestimate the long-term achievements of the revolutionary populism of the 1870s and 1880s. They established a model of political action, the crux of which lay in a small and tightly knit organization of revolutionary intelligentsia whose main enemy was the state power and whose long-term strategy was the penetration and channeling of the spontaneous protest of the mass of Russia’s under-dogs, workers and peasants, aiming to turn them into a political force. The problem of ‘Why did it not succeed?’ was hotly discussed, but the fundamental social map and the revolutionaries’ task was set out already in Chernyshevskii’s image of the double division of the people of Russia and of the coming plebeian war. The problem of ‘cadres’ vs. masses and the class analysis of the revolutionary action, as the necessary initial phase of state destruction, were acknowledged and analyzed as central and due to dominate any future considerations. The strength of this approach lay in its coming from and addressing the specific political and social conditions of tsarist Russia and countries with parallel characteristics. That is why it survived in the theory and organizational structures of all of the Russian revolutionary movements that followed.

On the other hand, there was the immediate and powerful experience of the defeat of the People’s Will, both conceptual and political. The people of Russia did not rebel at the sign of the tsar’s killing. The membership of People’s Will was dead, incarcerated or on the run. This destruction left the field of dissent to those who considered the revolutionary action premature or altogether misconceived. They consisted of three major strands. First, after failing to make much impact as a separate branch of populism, the core of the Black Repartition leadership emigrated and rapidly converted to Marxism. They reformed in Switzerland and established there the Emancipation of Labour organization, led by Plekhanov and Axelrod. They came now to accept the necessity of a capitalist stage in Russia’s development and of a proletarian revolution as the one possible road to socialism. The failure of People’s Will was explained accordingly, that is, as the result of an attack that was premature in class terms and therefore utopian and doomed. The eyes of the Emancipation of Labour group were on Germany, its rapid social and economic transformation during the 1880s and 1890s, as much as the repeated electoral victories of the German Social Democratic Workers Party. By the 1890s Plekhanov came to treat Russian peasantry by a bottle-neck of stagnation, to be disposed of as a necessary condition for the advance of capitalism and democracy, to be followed

in due time by the proletarian victory in its struggle for socialism. The movement they initiated was increasingly referred to as the Social Democrats.

Next, groups and individuals who proceeded to adhere to the broad populist tradition but refused its revolutionary implications, and therefore survived, came increasingly to speak on behalf of populism. As the hope for insurrection receded and its proponents were physically out of the scene, a 'politics of small deeds' was increasingly being stressed: education, agrarian advance, the welfare needs of the peasants and workers, etc. These views of a non-revolutionary ('legal') populism was finding a social carrier in the professional *zemstvos* employees. Within the *zemstvos* such populist members of the intelligentsia often allied with Marxists of similar inclinations and with liberal nobles, with whom they shared the wish to follow the 'small deeds', that is to serve the educational, economic and legal advance of the plebeian masses. A third strand of dissent, Russia's liberalism, developed within the enlightened landed nobility active in the *zemstvos* but also in the urban 'free professions': lawyers, medical doctors, university professors, etc. They were 'Westerners' to a man in their wish to have Russia progress towards the West European patterns of political organization, that is, parliamentary rule and constitutional government. To them, political liberty and a democratized (i.e. curtailed in its powers) state administration was the way to secure advance in other fields, that is, activate the Russian economy, stimulate education, enhance personal initiative, etc. They were hostile to, or at least wary of, the revolutionary and anti-monarchist élan of the People's Will, but ready to co-operate with the Left in the pursuit of welfare and educational schemes as well as in some demonstrations of political opposition. With Marxists, especially the 'legal' Marxists, they have much in common, including 'Westernism', belief in evolution and in the supreme significance of economic progress, and the drive for parliamentary democracy. Their hostility was turning increasingly against the 'official Russia', which harassed the elected regional authorities and repressed expressions of the literate public opinion, its journals and associations.

On the government side, the experience of People's Will reflected in the designation of potential enemies and unreliable elements as well as in the methods by which those were to be defeated or controlled. The main enemy was the 'terrorist', and as this disappeared the situation seemed essentially safe. Special attention was given to potential 'military rebels' among the officers. The main unreliable elements were seen as the rootless people, that is, the intelligentsia and the wage workers, who were to be carefully watched and controlled, with particular attention given to any contacts between the educated and the uneducated. The long-winded theoretical tracts of Marxists or of other scholastic radicals were treated as a marginal nuisance. On the other hand, the mildly constitutionalist reformers and professionals in the local authorities were systematically cautioned, dismissed or exiled.

During the 1890s the gloom of the defeat and executions of members of the People's Will and of the counter-reforms of Alexander III was lifting within the Russian political dissent. The opposition became increasingly active. Contacts were being restored, some of the revolutionary exiles were coming back, new activists were joining the fray. The 1891 famine had proved once more the tsarist state's outrageous crassness and in-

competence, as against the relative efficiency of the humanitarian initiative of Russian ‘society’, that is, the *zemstvo* authorities and the ‘free professions’. By the mid-1890s clandestine groups were growing faster than was their eradication by the police. Attempts began to establish political parties or equivalent nation-wide organizations in Russia proper (in the Polish, Finnish and Latvian provinces clandestine parties were already active). The framework that shaped these attempts was that of three major ideological streams: Marxist, liberal, and populist, but ethnic divisions and considerations of political strategy added to the complexity of the emerging political structures [36]. The picture at its most general was one of rapid transformation of Russia’s political scene — a rising wave of political dissent and of a parallel self-critical trend between the tsars’ nobles and bureaucrats.

In his first book concerned with party organization in those days, Lenin had hotly advocated the need for demarcation before any unification into a political party could take place. The issue was certainly rife within each of the ideological, ethnic and strategy-oriented streams and sub-streams of Russian political dissent. It was through a process of constant attempts at unification, of arguments, demarcations and remarcatations, punctuated by arrests and escapes that the map of twentieth-century Russian political parties was being established. At the turn of the century the essential shape of the main political organizations challenging the tsardom could already be seen but program, organizational prescriptions and membership were still very fluid when the revolution of 1905—1907 put the nascent political parties of Russian dissent to their supreme test. It was then that the unexpected characteristics of a political revolution that failed and the high drama of its experience resulted in a conceptual revolution due to play a major role in the transformation of Russia and the world at large. Its essence was the acceptance, often implicit, of Russia’s specificity as a developing society and the fact that this moment of truth was put to political use by monarchists radicalized by a revolution, and by revolutionaries, taught new realism by its surprises and its eventual defeat.

REFERENCES

- [1] Aksakov K. *Polnoe sobranie sochinenii* [Complete Works]. Moscow; 1861—1880 (In Russ.).
- [2] Alavi H. State in Post Colonial Society. *New Left Review*, 1972;74.
- [3] Baldamus W. The Role of Discovery in Social Sciences. Shanin T. *The Rules of the Game: Cross Disciplinary Essays on Models in Scholarly Thought*. L.; 1972.
- [4] Belinskii V. *Polnoe sobranie sochinenii* [Complete Works]. Saint Petersburg; 1900—1917 (In Russ.).
- [5] Bendix R., Lipset S.M. *Class Status and Power*. L.; 1968.
- [6] Berlin I. *Russian Thinkers*. Harmondsworth; 1978.
- [7] Berlin I. *The Listener*. 2 May 1968.
- [8] Billington J.H. *Fire in the Minds of Man*. L.; 1980.
- [9] Bol’shakov A., Rozhkov N. *Istoriya khozyaistva Rossii* [History of the Economy of Russia]. Moscow; 1926:III (In Russ.).
- [10] *Bol’shaya sovetskaya entsiklopedia* [Great Soviet Encyclopedia]. Moscow; 1941. Vol. 48.
- [11] Bolkhovskii M. *Sud’ba Revolyutsionno-sotsialisticheskoi intelligentsii Rossii* [The Fate of the Revolutionary-Socialist Intelligentsia of Russia]. *Materiyaly samizdata*, 1980:13/80 (In Russ.).
- [12] Bottomore T.B. *Elites and Society*. L.; 1964.

- [13] Brentwaite R.B. *Scientific Explanation*. Cambridge; 1953.
- [14] Brentwaite R.B. *Scientific Explanation*. Cambridge; 1953.
- [15] Bulgakov M. *Belaya gvardiya, Povesti* [White Guard, Novels]. Moscow; 1978 (In Russ.).
- [16] Corrigan P. Feudal Relics or Capitalist Monuments. *Sociology*, 1977:II.
- [17] Dmytryshyn B. *Imperial Russia: A Source Book 1700—1917*. Hinsdale; 1974.
- [18] Furtado C. *Development and Underdevelopment*. Berkeley, 1967.
- [19] Gramsci A. *Selection from Prison Notebooks*. L.; 1973.
- [20] Henberg B. *Pervyi internatsional i revolyutsionnaya rossiya* [First International, and Revolutionary Russia]. Moscow; 1962 (In Russ.).
- [21] Herten A. *Byloe i dumy, Sochineniya* [The Past and the Thoughts, Works]. Moscow; 1956. Vol. 5 (In Russ.).
- [22] Kautsky J. *Political Change in Underdeveloped Countries*. N.Y.; 1967.
- [23] Khomyakov A. *Izbrannye sochineniya* [Selected Works]. N.Y.; 1955.
- [24] Khoros V. *Ideinye techeniya narodnicheskogo tipa* [Ideological Currents of the Populist Type]. Moscow; 1980 (In Russ.).
- [25] Klyuchevskii V. *A History of Russia*. N.Y.; 1960. Vol. 5.
- [26] Leikina Svirskaya V. *Petrashevtsy*. Moscow; 1966 (In Russ.).
- [27] Leikina-Svirskaya V. *Intelligentsiya v Rossii vo vtoroi polovine XIX veka* [Intelligentsia of Russian in the Second Half of the XIX Century]. Moscow; 1971 (In Russ.).
- [28] Mikhailovskii N. *Otechestvennye zapiski*, 1881:12 (In Russ.).
- [29] Mills C.W. *The Power Elite*. N.Y.; 1956.
- [30] Mosca G. *The Ruling Class*. N.Y.; 1939.
- [31] Narodnaya Volya, 1880:3 (In Russ.).
- [32] Ossowski S. *Class Structure in Social Consciousness*. L.; 1963.
- [33] Pankratova A. *Pervaya russkaya revolyutsiya* [First Russian Revolution]. Moscow; 1951 (In Russ.).
- [34] Pareto V. *The Mind and Society*. L.; 1935.
- [35] Raeff M. The Well Ordered Police State. *The American Historical Review*, 1975:80(5).
- [36] *Revolutsionnoe dvizhenie v Rossii* [Revolutionary Movement in Russia]. Saint Petersburg, 1907 (In Russ.).
- [37] Shanin T. Class, state and revolution: Substitutes and realities. H. Alavi, T. Shanin. *Introduction to the Sociology of the 'Developing Societies'*. L.; 1982.
- [38] Shanin T. *Late Marx and the Russian Road*. L.; 1983.
- [39] Shanin T. *The Rules of the Game: Cross Disciplinary Essays on Models in Scholarly Thought*. L.; 1972.
- [40] Spiridovich A. *Revolutsionnoe dvizhenie v Rossii* [Revolutionary Movement in Russia]. Petrograd; 1916. Vol. II (In Russ.).
- [41] Sweezy P. The Proletariat of Today's World. *Tricontinental*, 1968:9.
- [42] Venturi F. *Roots of Revolution*. L.; 1960.
- [43] von Laue T. Imperial Russia at the Turn of Century. R. Bendix. *State and Society*. Berkeley, 1973.
- [44] von Laue T.H. *Sergei Witte and the Industrialization of Russia*. L.; 1963.
- [45] Walicki A. *The Controversy Over Capitalism*. Oxford; 1969.
- [46] Wallerstein I. *The Modern World System*. N.Y.; 1974.
- [47] Witte S. *Vospominaniya* [Memoirs]. Moscow; 1960. Vol. 2.
- [48] Wolf E. *Peasant Wars in the Twentieth Century*. N.Y.; 1969.
- [49] Zaionchkovskii P. 'Verkhovnaya rasporyaditel'naya kommissiya' [Supreme administrative commission]. *Voprosy istorii sel'skogo khozyaistva, krest'yanstva I revolyutsii*. Moscow; 1961 (In Russ.).

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-157-179

«ПЕРИФЕРИЯ», ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ, ИЛИ МОРФОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ ОТСТАЛОСТИ (ЧАСТЬ 2)*

Т. Шанин

Университет Манчестера
Оксфорд Роуд, Манчестер, M13 9PL, Великобритания
(e-mail: shanin@universitas.ru)

Данной статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных теоретическим аспектам концепции Теодора Шанина, впервые обнародованной в 1986 г. в книге «Россия как развивающееся общество. Истоки инаковости: Россия в начале XX века. Т. 1». В статье рассмотрена оформившаяся в начале XX в. характеристика России как «развивающегося общества», которая имеет смысл лишь в контексте капиталистического строительства как внутри страны, так и в глобальных масштабах. В то же время уникальными/специфическими чертами российской социальной сцены на тот исторический момент, которые были обусловлены прошлым страны, отразившимся в ее настоящем, стали своеобразный государственный аппарат, этногенез и крестьянство. Власть государственного чиновничества, его контроль над национальными ресурсами и населением страны, а также юридически гарантированные претензии многократно превышали аналогичные показатели в тех странах, что уже ощутили поступь капитализма. Что касается населения, то процессы консолидации и «расширенного воспроизводства» культурных норм, языкового использования, фундаментальных символов идентичности, связанных с политической лояльностью, сплели воедино судьбы множества людей самого разного происхождения. И, наконец, за два столетия российское крестьянство прошло весь путь от уплаты дани до невиданной прежде эксплуатации и тотального закрепощения, а уже в следующем столетии получило свободу от крепостного права и земельную собственность. Российский тип зависимого догоняющего развития в тот период получил свое выражение не только в общих экономических дисфункциях и трансформациях, но и в специфике формирования классов и их конфликтных взаимоотношений. Наряду с общим кризисом российской политэкономии и разрастающимся конфликтом между основными социальными группами страну охватил идеологический/моральный кризис, детерминированный различиями в ценностях и интерпретациях (например, русская интеллигенция открыто противостояла государственному аппарату). Статью завершает оценка разных типов расколов, за которыми стояли люди идей и знаний, придерживающиеся разных народнических теорий, включая революционное народничество и субъективную социологию.

Key words: развивающееся общество; капитализм; Россия; государство; крестьянство; народнические теории и движения; классовые конфликты; интеллигенция; периферия; революция

* © Шанин Т., 2016.



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-180-191

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ РАДИКАЛЬНЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОТЕСТА: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИНЦИПАХ «МАЛЬТУЗИАНСКОЙ ЛОВУШКИ» И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ*

Э.Э. Шульц

Центр политических и социальных технологий
ул. Большая Филевская, 55-1, Москва, Россия, 121433
(e-mail: nuap1@yandex.ru)

В статье рассматривается проблема причин радикальных массовых форм социального протеста в контексте концепций мальтузианской ловушки и структурно-демографической теории американского социолога Джека Голдстоуна, ставших популярными в последние два десятилетия. В работе дается критический анализ упомянутых концепций, в результате которого автор приходит к выводу, что данные принципы могут являться лишь сопутствующими факторами, т.е. дополнительными факторами риска для политических систем и режимов, но не могут рассматриваться в качестве причины радикальных массовых форм социального протеста. Используемый в статье метод анализа заключается в изучении обстоятельств возникновения этих форм социального протеста в широком историческом контексте, на большом количестве примеров. Научный подход в определении причин социально-исторических фактов заключается в том, что если что-то является причиной события, то оно должно самостоятельно или в комплексе с сопутствующими факторами проявляться в каждом подобном событии. Мальтузианская ловушка и демографический фактор не прослеживаются во всех проявлениях радикальных массовых форм социального протеста в Новое и Новейшее время. Более того, наличие мальтузианской ловушки и давящего на экономику и социальную систему демографического роста часто не вызывают случаев радикального массового социального протеста. Выплеск радикальных массовых форм социального протеста в последнее десятилетие в событиях так называемых «цветных революций», «арабской весны», протестных выступлений во Франции, Англии и США лишний раз подчеркивают актуальность таких исследований и критического подхода к устоявшимся концепциям.

Ключевые слова: причины радикальных форм социального протеста; мальтузианская ловушка; концепция Дж. Голдстоуна; социальный протест; теория социального протеста; теория революции; молодежный бугор

О причинах радикальных массовых форм социального протеста мыслители рассуждают со времен Аристотеля, однако, несмотря на это, у исследователей нет однозначного исчерпывающего ответа на вопросы о причинах бунтов, мятежей, гражданских войн и революций [11; 12]. Наибольшую популярность в последние два десятилетия получили два подхода в объяснении причин радикальных массовых форм социального протеста: «мальтузианская ловушка» и демографическая концепция Дж. Голдстоуна. Критическому анализу этих концепций и посвящена данная статья. Наша цель состоит в том, чтобы понять возможность применения данных концепций с точки зрения объяснения причин (а значит — и прогнозиро-

* © Шульц Э.Э., 2017.

вания) выплеска социального протеста в радикальных и массовых формах. Актуальность подобных исследований обусловлена широким спектром радикальных массовых форм социального протеста, наблюдавшихся в последнее десятилетие в странах бывшего СССР и в странах Северной Африки и Ближнего Востока, получивших названия «цветных революций» и «арабской весны», а также акциями протеста, которые были обойдены вниманием специалистов, особенно с точки зрения причин возникновения таких форм социального протеста, которые имели место во Франции и Англии в 2010-х гг. и в США в 2014 и 2017 г. Метод исследования причин радикальных массовых форм социального протеста должен состоять в сравнении всех феноменов подобного типа, несмотря на разницу в формах проявления (крестьянские и гражданские войны, восстания, мятежи, протестные акции с противостоянием силам правопорядка), стратегий и тактик инсургентов. Суть явления остается единой: выступление части общества против власти с нарушением законов и столкновениями с силами правопорядка, с риском потери жизни, здоровья или тюремного заключения.

Название «мальтузианская ловушка» происходит от имени английского экономиста Томаса Мальтуса (1766—1834), чей труд «Опыт закона о народонаселении» был весьма популярен при жизни автора и выдержал шесть изданий [18. Р. 3]. Однако впоследствии он был подвергнут серьезной критике со стороны научного сообщества [6. С. XXX, XL, XLI]. В связи с тем, что некоторые идеи Мальтуса были взяты на вооружение сторонниками различных форм социальной дискриминации и сегрегации, упомянутое сочинение в 1856 г. было внесено священной конгрегацией в список запрещенных книг [6. С. VIII, XVIII, XVIII]. Возрождение новой популярности нео-мальтузианства произошло в середине XX столетия.

Согласно теории Мальтуса рост населения ограничен плодородием земли: с точки зрения Мальтуса, население удваивается каждые 25 лет и будет возрастать в геометрической прогрессии, что ведет к бедности, голоду и социальным потрясениям, в связи с чем Мальтус призывал к контролю за ростом населения [6. С. 10, 13—16, 22]. На современном этапе мальтузианством называется демографическая теория и одна из социально-экономических моделей, объясняющих функционирование доиндустриальных обществ. Суть теории заключается в том, что рост населения обгоняет рост производства продуктов питания, поэтому не происходит ни роста производства продуктов питания на душу населения, ни улучшения условий существования для большинства населения, которое находится на уровне голодного выживания. Выход из такой социально-экономической «ловушки» находится в процессе модернизации, которая, в свою очередь, влечет вместе с собой различные социальные потрясения — движения народного протеста, восстания, гражданские войны, революции и т.д. [2. С. 134—210; 23. Р. 112—147].

Связана с принципом мальтузианской ловушки и так называемая структурно-демографическая концепция Джека Голдстоуна. Положив в основание своего подхода идеи Мальтуса и немецкого историка экономики Вильгельма Абея (работы 1934 и 1935 г., где исследователь выделял существование демографических циклов Европы, в которых рост населения вел к росту цен и снижению заработной платы, а уменьшение населения — к обратным процессам) [16; 17]. Джек Голд-

стоун выдвинул постулат, что демографический фактор и волны демографического роста стали причинами всех массовых радикальных форм социального протеста в Новое и Новейшее время. Так первая такая волна в Новом времени дала Нидерландскую и Английскую революции; вторая волна — с 1770 по 1850 г. — привела к французским революциям, революциям в Европе 1848—1850 гг., крестьянской войне Пугачева в России и т.д.; а период 1660—1760 гг., когда демографическая ситуация ухудшалась, отметился в истории лишь некоторыми малозначимыми социальными выступлениями [21. Р. 2—3]. Голдстоун считал, что аграрные государства не могли справиться с постоянным ростом населения: уровень населения превышал плодородие земли, что и вело к социальным возмущениям. В последних работах Голдстоун стал рассматривать рост населения как «бомбу замедленного действия» и для развития современной цивилизации [21. Р. 2—3, 27, 31, 419—421; 22. Р. 31].

Итак, мы имеем две отправные точки. Во-первых, феномен давления демографического роста в государстве, а во-вторых, утверждения о причинно-следственной связи между этим феноменом и возникновением радикальных массовых форм социального протеста. Необходимо понимать, что, как справедливо отметил Франсуа Крузэ, на сегодняшний день нет полностью удовлетворяющей теории развития для доиндустриальных экономических систем, а мальтузианская модель выступает лишь одной из них, которая получила популярность на определенном этапе развития мысли [19. Р. 87]. Выдвинутый в качестве главенствующего в экономическом развитии принцип мальтузианской ловушки часто сводит изображение истории до XIX в. к максимально упрощенному пониманию [3. С. 14]. Рассуждения о мальтузианской ловушке доходят порой до крайних утверждений, например, что «средний человек в 1800 году жил не лучше, чем за 100 тыс. лет до н.э.» [3. С. 14]: «Качество жизни также не возрастало ни в каком из ощутимых отношений. Продолжительность жизни в 1800 году была не больше, чем у охотников и собирателей: 30—35 лет. Средний рост — показатель качества питания, а также заболеваемости среди детей — в каменном веке был выше, чем в 1800 году. И если первобытные люди были способны удовлетворить свои материальные потребности, приложив к тому совсем немного усилий, то англичане 1800 года могли обеспечить себе скромный комфорт лишь путем неустанный труда» [3. С. 15]. Это, конечно, исторический нонсенс. Описываемый уровень общества заставляет только удивляться, как подобные общества вообще выжили, смогли создать капиталистическую экономику и промышленную революцию. В качестве же объяснения выдвигалась идея о целенаправленном ограничении рождаемости в Европе в позднее Средневековье, что способствовало росту благосостояния [4. С. 194].

На самом деле человек в ходе прогресса тратил на добывание жизненных средств меньше сил и времени, что, собственно, и стало залогом развития цивилизации. Начало индустриальной эпохи принесло на некоторый промежуток времени повышение количества затрачиваемого времени на работу в городах, что проявилось в Европе XIX в. и породило выводы Маркса об эксплуатации и взгляд на пролетариат как на класс рабов, которому нечего терять кроме своих цепей. При

отсутствии эффективных средств контрацепции и церковном запрете на аборт и контрацепцию контролировать рождаемость не представлялось возможным. Демографический рост как раз стал двигателем прогресса Западной Европы, так как благодаря существенному росту населения (с 40 до 200 миллионов) произошли развитие торговли и рост производства между XI и XVIII в. [19. Р. 10, 88]. Только возможность производить избыточный прибавочный продукт позволяет содержать больше людей не занятых в производстве. Поэтому если Европа в Средние века жила на грани голода, то объяснить расцвет культуры в XIII—XV вв., а затем в XVII столетии не представляется возможным.

Демографический рост двигал в Средние века население в города, что позволило создать городскую цивилизацию. Рост населения позволил высвободить часть этого населения из производственного цикла в иные сферы: науку, искусство и т.п. «Излишек» создавал возможность военных потерь без угрозы выживания популяции, что вело к захватническим войнам и грабительским набегам. Так сложилась ситуация, например, у скандинавских народов в период набегов викингов. Добыча в таких военных походах перекрывала потенциальный доход на душу населения при обычном мирном ведении хозяйства. Нехватка земли и продовольствия должны неминуемо вести к освоению новых территорий, однако в период классических и поздних Средних веков такой экспансии почти не происходило, а колониционный процесс Нового времени — Северная и Южная Америка и Сибирь — был более связан не с низким уровнем жизни и нехваткой продовольствия, и не тягой к обработке новой земли, а стремлением к «вольнице», быстрой и легкой наживе за счет аборигенов, получения социального статуса и т.д.

В середине XIV в. столетия чума унесла огромное количество жизней, и европейские государства смогли восстановить уровень населения к XVI в. [5. С. 15; 19. Р. 89]. Только «с открытием Америки население Европы впервые начало уменьшаться из-за такого фактора, как эмиграция, стала гуще сеть городов. Этот подъем обрывается к концу XVI века и переходит в кризис XVII века, обусловленный Тридцатилетней войной, новой эпидемией чумы и все чаще случающимися продовольственными кризисами» [5. С. 15]. Таким образом, о перенаселенности Европы в период до 1800 г. (устанавливаемая временная граница доиндустриальных государств в Европе и начало прорыва мальтузианской ловушки) вести речь не приходится. Европа никогда не была перенаселена в том смысле, который вкладывается в это понятие сегодня.

Относительная перенаселенность регулировалась несколькими путями: война, колониционные процессы; грабительские набеги, которые вели к людским потерям и большим финансовым приобретениям; отсылка за рубеж больших групп знатного сословия (как правило, бедного и безземельного), способного с оружием в руках выступить против власти (крестовые походы, экспедиционные отряды в Америку). Кроме того вплоть до Новейшего времени в сокращении населения большую роль играли эпидемии и городские пожары.

В истории человечества еще никогда не было периода, чтобы предел возможности пропитания был достигнут. Голодные года не давали релевантной убыли на-

селения. Рост населения, как и его торможение и упадок, всегда зависел от других факторов. Восстания и революции никак не помогали улучшить пропитание, и это вполне осознавалось уже нашими предками: человек стремился искать лучшей жизни в других землях или находил ее в колонизации или войне. Рост населения и недостаток ресурсов на какой-то территории, по крайней мере до Новейшего времени, приводил к движению народов, внешним войнам, но не к восстаниям, гражданским войнам и революциям.

Исследования демографического и экономического состояния перед Великой французской революцией (которая является «классическим» примером в демонстрации причин революций) приводят ряд современных исследователей к выводам, что высокое давление демографии на экономику в предреволюционной Франции является недоказанным. 1788 год дал плохой урожай, но в 1789 г. не было никакого кризиса голодания или повышенной смертности [19. Р. 92]. Вообще прямой корреляции между неурожайными годами и кризисами повышенной смертности населения в истории Европы нет (если эти годы не попадали на эпидемии) [19. Р. 92—93]. Есть связь между ростом населения и ростом цен на зерно [5. С. 27], но это не означает существенную нехватку продовольствия, голод и увеличение смертности.

Перед Французской революцией в стране не было голода, можно вести речь лишь о некотором падении уровня потребления в связи с двумя годами неурожая. Однако такого падения не было ни перед революцией в Нидерландах, ни в Английской и Американской революциях, ни перед Китайской и Кубинской революциями. Говоря о Русской революции, тоже некорректно заключать, что она была вызвана голодом: в стране было достаточно продовольствия, наличествовали некоторые сложности в прифронтовой зоне и с доставкой продовольствия в Петроград. Более того, как известно, голодные не бунтуют, голодные борются за существование. Так, голод в СССР 1932—1933 гг. не вызвал новую революцию, даже значительных массовых и радикальных выступлений против власти не последовало. Кроме того, в истории сложно найти множество примеров, где страна перед потрясениями радикального массового протеста голодала (т.е. не могла обеспечить продовольствием население в связи с экономической ловушкой при росте населения).

Следует обратить внимание, что проблема здесь лежит скорее не в плоскости экономики, а в плоскости социальной психологии: не в фактическом положении дел, а в представлении этого положения. «Голодным годам» во Франции сопутствовал фактор панических настроений и резко негативного отношения к богатым и торгующим продовольствием [9. С. 132, 133, 161]. З.А. Чеканцева, изучая проблемы социального протеста во Франции XVII—XVIII в., отметила, что широкое распространение хлебных бунтов с конца XVII в. являлось «отражением существенного ментального сдвига: именно в это время не только власть имущие, но и простые люди перестали связывать голод лишь с карой небесной» [9. С. 33]. При этом следует учитывать, что оценка привычного уровня потребления в разных странах и культурах всегда различна. Так, в Средние века и Новое время привычный стол европейского крестьянина мог представляться праздничным для русского и пиршественным для китайца.

Проблемы соотношения роста экономики и роста населения связывается с низкой урожайностью: от сам-семь до сам-десять в европейских странах между 1500 и 1800 г. [5. С. 26]. Однако в сравнении с Россией, где средняя урожайность даже в XIX в. редко достигала сам-четыре [7. С. 384, 390], такой уровень выглядит сверх богатым и действительно позволял европейским странам иметь излишек и использовать его для развития. Вообще, понятие «излишек» и «недостаток» определяется не количественными величинами (если речь не идет о крайних степенях низкого уровня), а отношением к этим значениям. То, что мы сегодня считаем крайне низким уровнем, было вполне достаточным для людей Средних веков, Нового времени и даже большинства стран начала Новейшего времени.

Главная ошибка модели мальтузианской ловушки заключается в том, что мышление современного человека эпохи «общества потребления» переносится на ментальность предшествующих эпох, а такой перенос абсолютно некорректен. Человек эпохи Средних веков и почти всего Нового времени относился к своему достатку как данному ему Богом (упорным трудом и т.д.). Фрустрация начинается тогда, когда уровень твоего достатка разнится с релевантными группами, а в Средние века таковыми выступали жители округа, максимум — страны: такие же крестьяне и горожане. Новое время привнесло фактор интернационализации и сопоставлений с состоянием за пределами страны, но, во-первых, уровень этой информированности был весьма ограниченным, во-вторых, уровень материального благосостояния граждан различных европейских государств, принадлежащих к одним и тем же социальным группам, отличался незначительно почти до Новейшего времени.

Эта ошибка, казалось бы, в какой-то степени устраняется концепцией «мальтузианско-марксово́й» или «мальтузианско-урбанистской ловушки» (по мнению некоторых авторов, характерной не для доиндустриальных, а для индустриализующихся стран) [1. С. 214, 216]. Но только если относить эту проблему к индустриализующимся обществам XX и XXI в. в условиях снижения информационных барьеров, широкого распространения шаблонов «модернизации», «успешности», «достатка», «высокого уровня жизни» и примеров развитых государств. Однако и эта модифицированная форма принципа не решает другую проблему: непрекращающуюся цикличность причинно-следственной связи, в случае, если мальтузианскую ловушку рассматривать не как экономический феномен, а как причину массового социального протеста. После проявлений радикальных массовых форм протеста мальтузианская ловушка никуда не исчезает, т.е. «последствие» не устраняет свою «причину», а если так, то, следуя логике причинно-следственных связей, протест должен прорываться вновь и вновь и переходить в непрекращающийся бунт до тех пор, пока население не уменьшится настолько, чтобы снова повысить уровень материального благосостояния на душу населения. Однако такие масштабные и продолжительные смуты (которые способны были унести такое количество людей) приводят к полному упадку экономики, так что уровень материального благосостояния после этих событий существенно ниже, чем до них. Что, следуя логике, должно было бы вызывать еще большее недовольство и новые бунты. Но такой ход событий, трудно представимый даже теоретически, на практике никогда не встречался.

Ведет ли демографический рост сам по себе к социальной напряженности? Голдстоун не решил, в конце концов, остановиться на таком утверждении. Исследователь расширил сопутствующие факторы, так как с его точки зрения, для того чтобы понять природу государственных кризисов, необходимо учитывать, влиял ли демографический рост на цены, затрагивали ли эти изменения госдоходы, доход и условия занятости населения в целом [21. Р. 27, 31]. Однако и эти дополнения не кажутся бесспорными. Рост населения может вести к росту продовольственных цен, но к тому же ведут неурожайные годы и процесс инфляции — на таких длительных временных промежутках, которые рассматриваются, этот процесс является закономерным даже вне зависимости от роста или убыли населения. Рост цен и особенно проблемы государственных доходов чаще всего были вызваны другими факторами: войны, расточительность и неразумная политика, — причем эти проблемы могли доставаться по наследству правителям, при которых случались вспышки радикальных массовых форм социального протеста. Алексис де Токвиль справедливо утверждал, что истощение Франции (в первую очередь казны) началось при Людовике XIV, еще в период его победоносных войн, почти за столетие до Французской революции [8. С. 151].

Демографический рост при неэластичности политических институтов действительно может оказывать влияние на социальную напряженность в обществе и давление на политическую систему, но это не одно и то же, что и всплеск радикального социального протеста в виде восстания, гражданской войны, революционного движения, мятежа или, как минимум, масштабных антиправительственных акций, связанных со столкновениями с силами порядка. Это состояние общества, когда население рискует жизнью, тюрьмой, физическими повреждениями и здоровьем, и вопрос заключается в том, что может вызвать такое состояние общества, когда его часть готова идти на подобные жертвы. Производной от демографической концепции является принцип так называемого «молодежного бугра» (youth bulge). Естественный рост населения неизбежно ведет к росту доли молодежи в обществе, а в связи с тем, что молодежь более склонна к протестным действиям, то этот рост ведет к всплеску радикальных массовых форм социального протеста. По мнению Голдстоуна, большинство революций XX в. произошли там, где наблюдался «молодежный бугор» [20. Р. 3—21].

Состояние протеста является неотъемлемой частью молодежной психологии, а формы молодежного протеста могут быстро переходить в крайние состояния. Однако постоянный конфликт поколений, когда каждое новое поколение стремится пересмотреть взгляды и принципы предыдущего, стал накладывать существенный отпечаток на процесс возникновения и развития социального протеста лишь в период Новейшего времени. Для обществ Древности и Средневековья такое состояние дел не было характерным. Следует также принимать во внимание, что в современных событиях «избыток» молодого населения в структуре общества отмечается только для арабских стран, но не для стран постсоветского пространства, где прошли «цветные революции». В странах «бархатных революций» не существовало аномально большой доли молодежи. Если вести речь о русской

революции (которая часто приводится в пример), то «молодежный бугор», сформировавшийся в России к началу XX в., был существенно «сглажен» потерями в Первой мировой войне. В Германии конца 1920-х — начала 1930-х гг. молодежь сыграла существенную роль в поддержке нацистского движения, но ключевой фактор успеха нацистов заключался в поддержке не молодого поколения, а поколений, которые сохранили свои политические взгляды, перейдя в более зрелый возраст [10; 13]. Множество вопросов вызывает и пример Кубинской революции [15]. Следует констатировать, что и в этом прочтении демографический фактор вызывает обоснованные сомнения. Безусловно, молодежь является самым быстро воспламеняющимся материалом бунта, однако превалирование доли молодежи в обществе вряд ли правомерно рассматривать как основную причину бунта.

Голдстоун в своих работах не разделяет причины социального протеста в его радикальных и массовых формах и причины революций. Социальный протест является частью революций, где в результате протеста происходит государственный переворот и последующие кардинальные реформы в обществе, которые, собственно, и выделяют такой социально-политический феномен как революция. Если рассматривать причины радикального социального протеста как составной части революции и революций как редкого социального политического явления отдельно, то это правомерно, но сторонники мальтузианской ловушки и структурно-демографической теории эти явления смешивают. Подобный подход приводит к смешению двух вопросов «Почему люди бунтуют?» и «Почему происходят революции?», а это явления разного порядка.

В данной статье мы рассматриваем проблему причин радикального массового социального протеста, в том числе как часть революций, но не причины самих революций, однако вынуждены частично затронуть и второй вопрос. Разорвать мальтузианскую ловушку можно в процессе модернизации общества, но эта модернизация является причиной революций. Соответственно, мальтузианская ловушка становится причиной революций в индустриализирующихся обществах. Здесь возникает вопрос, так как революция действительно производит модернизацию, но в политической и социальной сфере, а не экономической. Изменения в экономике производит промышленная, а не социальная революция, соответственно, социальная революция не может упразднить мальтузианскую ловушку. Кроме того, революции происходили и в уже индустриализированных обществах — например, ноябрьская революция 1918 г. в Германии, «революция гвоздик» 1974 г. в Португалии, «бархатные революции» и др. [14]. С другой стороны, если происходит не революция, а восстание, мятеж, то как они могут упразднить эти факторы-причины, если модернизирующие процессы связаны с революциями? Здесь, очевидно, происходит конфликт в логике причинно-следственной связи.

Если проанализировать все явления радикальных массовых форм социального протеста с XV в. до сегодняшнего дня, можно с уверенностью говорить о том, что демографический рост и мальтузианская ловушка не могут рассматриваться как факт, как минимум для половины таких случаев — их просто не было, а там,

где они теоретически могли присутствовать, есть большие сомнения, что они стали причиной (глубинной или поверхностной) выплеска социального протеста. Крестьянские войны XV—XVIII в. (которые приводит в пример Голдстоун) ни в Западной Европе, ни в России (где при низкой плотности населения вести речь о перенаселенности кажется более чем странным) не имели отношения ни к демографическому росту, ни к мальтузианской ловушке, ни с точки зрения глубинных причин, ни тех, что артикулировали участники событий. Это столь же справедливо для Нидерландской, Английской, всех французских революций, революции в Швейцарии, Бельгии, Норвегии, Швеции, Японии, Греции, всех испанских и португальских, национально-освободительных революций Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, революций в Китае и обеих Кореях и т.д. [14].

Научный подход в определении причин исторических фактов заключается в том, что если что-то является причиной события, то оно должно самостоятельно или в комплексе с сопутствующими факторами проявляться в каждом подобном событии. Мальтузианская ловушка и демографический фактор не прослеживаются во всех проявлениях радикальных массовых форм социального протеста в Новое и Новейшее время. Более того, наличие мальтузианской ловушки и давящего на экономику и социальную систему демографического роста часто не вызывают случаев радикального массового социального протеста. В связи с этим данные принципы могут являться сопутствующими факторами и факторами риска для политических систем и режимов, но не могут рассматриваться в качестве причины радикальных массовых форм социального протеста. Эти выводы подтверждаются и сходными событиями начала XXI в. До событий последних трех лет радикальный протест обнаруживался в странах вне десятки благополучных, что можно было бы объяснить действием социально-экономических причин. Однако какими экономическими факторами или демографическим ростом были вызваны радикальные протестные акции во Франции и Англии 2010-х гг. или события двухлетней давности и сегодняшнего дня в США?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Гринин Л.Е.* Мальтузианско-марксова «ловушка» и русские революции // О причинах русской революции / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. М.: Издательство ЛКИ, 2010. С. 198—224.
- [2] *Гринин Л.Е., Малков С.Ю., Гусев В.А., Коротаев А.В.* Некоторые возможные направления развития теории социально-демографических циклов и математические модели выхода из мальтузианской ловушки // История и математика: процессы и модели / Ред. С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. С. 134—210.
- [3] *Кларк Г.* Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.
- [4] *Коротаев А.В.* Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. М.: «Восточная литература» РАН, 2003.
- [5] *Ливи Баччи М.* Демографическая история Европы. СПб.: Александрия, 2010.
- [6] *Мальтус Т.-Р.* Опыт закона о народонаселении. М.: Издание К.Т. Солдатенкова, Типо-литография О.И. Лашевич и Ко, 1895.
- [7] *Милов Л.В.* Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 1998.

- [8] *Токвиль А.* Старый порядок и революция. СПб.: Алетейя, 2008.
- [9] *Чеканцева З.А.* Порядок и беспорядок: протестующая толпа во Франции между Фрондой и революцией. М.: ЛИБРОКОМ, 2012.
- [10] *Шульц Э.Э.* Приход нацистов к власти в Германии и концепция «молодежного бугра» // *Общество. Среда. Развитие*. 2015. № 3. С. 98—101.
- [11] *Шульц Э.Э.* Причины возникновения радикальных форм социального протеста (историографический обзор) // *Вестник МГУ. Серия «Политология»*. 2014. № 2. С. 39—49.
- [12] *Шульц Э.Э.* Причины революций: голова или кошелек? // *Историческая психология и социология истории*. 2014. № 1. С. 102—119.
- [13] *Шульц Э.Э.* Проблемные вопросы социальной базы НСДАП: к причинам успеха нацистов на выборах 1928—33 гг. // *Вестник РУДН. Серия: Социология*. 2015. № 1. С. 42—53.
- [14] *Шульц Э.Э.* Теория революции: революции и современные цивилизации. М.: ЛЕНАНД, 2016.
- [15] *Шульц Э.Э.* Феномен кубинской революции в контексте технологий управления социальным протестом // *Приволжский научный вестник*. 2014. № 4. С. 145—153.
- [16] *Abel W.* Agrarkrisen und Agrarkonjunktur // *Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert*. Berlin, 1935.
- [17] *Abel W.* Bevölkerungsgang und Landwirtschaft im ausgehenden Mittelalter im Lichte der Preis- und Lohnbewegung // *Schmollers Jahrbücher*. 1934. № 58.
- [18] *Bonar J.* Malthus and His Work. L.: Macmillan and Co., 1885.
- [19] *Crouzet F.* A History of the European Economy, 1000—2000. Charlottesville-L.: The University Press of Virginia, 2001.
- [20] *Goldstone J.A.* Population and security: How demographic change can lead to violent conflict // *Journal of International Affairs*. 2002. No. 56. P. 3—21.
- [21] *Goldstone J.A.* Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley: University of California Press, 1991.
- [22] *Goldstone J.A.* The new population bomb: The four megatrends that will change the world // *Foreign Affairs*. 2010. Vol. 89. No. 1. P. 31—43.
- [23] *Turchin P., Korotayev A.* Population dynamics and internal warfare: A reconsideration // *Social Evolution & History*. 2006. No. 5. P. 112—147.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-180-191

ON THE REASONS OF RADICAL FORMS OF SOCIAL PROTEST: REFLECTIONS ABOUT PRINCIPLES OF ‘MALTHUSIAN TRAP’ AND DEMOGRAPHIC FACTORS*

E.E. Shults

Center for Political and Social Technologies
B. Filevskaya St., 55-1, Moscow, Russia, 121433
(e-mail: nuapl@yandex.ru)

The article considers reasons for radical mass forms of social protest in the context of the ‘Malthusian trap’ and structural-demographic theory of Jack Goldstone, which have become popular in the last two decades. The author critically evaluates these two conceptions and comes to the conclusion that the principles

* © E.E. Shults, 2017.

they underline are just concomitant factors, i.e. additional risk factors for political systems and regimes, rather than causes of radical mass forms of social protest. The author suggests a method of analysis that consists of studying the circumstances, i.e. the wide historical context, in which mass forms of social protest usually emerge, and provides a large number of illustrative examples. The scientific approach to the identification of social-historical determinants of radical forms of social protest implies that if something is a reason/cause of an event, then this reason/cause must be present whenever there is such an event both alone or within a complex of concomitant factors. The ‘Malthusian trap’ and demographic factors cannot be traced in all manifestations of radical mass forms of social protest in modern and contemporary history. Moreover, the ‘Malthusian trap’ and demographic pressure on the economy and social system do not always lead to mass forms of social protest. The wave of radical forms of social protest in the last decade, i.e. the so-called ‘color revolutions’, ‘Arab spring’, protest actions in France, England and the USA, once again confirms the relevance of the author’s approach and the importance of critical study of the traditional conceptions.

Key words: reasons for radical forms of social protest; ‘Malthusian trap’; J. Goldstone’s theory; social protest; theory of social protest; theory of revolution; youth ‘bulge’

REFERENCES

- [1] Grinin L.E. Mal'tuziansko-marksova «lovushka» i russkie revoljucii [Malthusian-Marx trap and Russian revolutions]. *O prichinah russskoj revoljucii*. Moscow: Izdatel'stvo LKI; 2010: 198—224 (In Russ).
- [2] Grinin L.E., Malkov S.Ju., Gusev V.A., Korotaev A.V. Nekotorye vozmozhnye napravlenija razvitija teorii social'no-demograficheskikh ciklov i matematicheskie modeli vyhoda iz mal'tuzianskoj lovushki [Some possible directions in the development of the theory of social-demographic cycles, and mathematical models for getting out of the Malthusian trap]. *Istorija i matematika: processy i modeli* / Red. S.Ju. Malkov, L.E. Grinin, A.V. Korotaev. Moscow: LIBROKOM; 2009: 134—210 (In Russ).
- [3] Clark G. *Proshhaj, nishheta! Kratkaja ekonomicheskaja istorija mira* [A Farewell to Alms: a Brief Economic History of the World]. Moscow: Izdatel'stvo Instituta Gajdara; 2012 (In Russ).
- [4] Korotaev A.V. *Social'naja evoljucija: faktory, zakonmernosti, tendencii* [Social Evolution: Factors, Regularities, Tendencies]. Moscow: “Vostochnaja literature” RAN; 2003 (In Russ).
- [5] Livi Bachi M. *Demograficheskaja istorija Evropy* [Demographic History of Europe]. Saint Petersburg: Aleksandrija; 2010 (In Russ).
- [6] Malthus T.-R. *An Essay on the Principle of Population*. Moscow: Izdanie K.T. Soldatenkova, Tipo-litografija O.I. Lashvevich i Ko; 1895. (In Russ).
- [7] Milov L.V. *Velikorusskij pahar' i osobennosti rossijskogo istoricheskogo processa* [Great Russian Plowman, and Features of the Russian Historical Process]. Moscow: ROSSPEN; 1998 (In Russ).
- [8] Tocqueville A. *Staryj porjadok i revoljucija*. [Old Regime and Revolution]. Saint Petersburg: Aletejja; 2008 (In Russ).
- [9] Chekantseva Z.A. *Porjadok i besporjadok: protestujushhaja tolpa vo Francii mezhdu Frondoj i revoljuciej*. [Order and Disorder: Protesting Crowd in France between Opposition and Revolution]. Moscow: LIBROKOM; 2012 (In Russ).
- [10] Shults E.E. Prihod nacistov k vlasti v Germanii i koncepcija «molodezhnogo bugra» [Coming of Nazis to power in Germany, and the concept of “youth bulge”]. *Obshhestvo. Sreda. Razvitie*, 2015;3:98—101 (In Russ).
- [11] Shults E.E. Prichiny voznikovenija radikal'nyh form social'nogo protesta (istoriograficheskij obzor) [Origins of radical forms of social protest: A historiographical review]. *Vestnik MGU. Serija “Politologija”*, 2014;2:39—49 (In Russ).
- [12] Shults E.E. Prichiny revoljucij: golova ili koshelek? [Reasons of revolutions: Life or purse?]. *Istoricheskaja psihologija i sociologija istorii*, 2014;1:102—119 (In Russ).

- [13] Shults E.E. Problemnye voprosy social'noj bazy NSDAP: k prichinam uspeha nacistov na vyborah 1928—33 gg. [The social base of NSDAP: Reasons for Nazis success in 1928—1933 elections]. *RUDN Journal of Sociology*, 2015;1:42—53 (In Russ).
- [14] Shults E.E. *Teorija revoljucii: revoljucii i sovremennye civilizacii* [Theory of Revolution: Revolutions and Modern Civilizations]. Moscow: LENAND; 2016.
- [15] Shults E.E. Fenomen kubinskoj revoljucii v kontekste tehnologij upravljenija social'nym protestom [A phenomenon of the Cuban revolution in the context of technologies for managing social protest]. *Privolzhskij nauchnyj vestnik*, 2014;4:145—153 (In Russ).
- [16] Abel W. Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. *Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert*. Berlin; 1935.
- [17] Abel W. Bevölkerungsgang und Landwirtschaft im ausgehenden Mittelalter im Lichte der Preis- und Lohnbewegung. *Schmollers Jahrbücher*. 1934. No. 58.
- [18] Bonar J. *Malthus and His Work*. L.: Macmillan & Co.; 1885.
- [19] Crouzet F. *A History of the European Economy, 1000—2000*. Charlottesville—L.: The University Press of Virginia; 2001.
- [20] Goldstone J.A. Population and security: How demographic change can lead to violent conflict. *Journal of International Affairs*, 2002;56:3—21.
- [21] Goldstone J.A. *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. Berkeley: University of California Press; 1991.
- [22] Goldstone J.A. The new population bomb: The four megatrends that will change the world. *Foreign Affairs*, 2010;89(1):31—43.
- [23] Turchin P., Korotayev A. Population dynamics and internal warfare: A reconsideration. *Social Evolution & History*, 2006;5:112—147.



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-192-201

RULES OF POLITICAL COMMUNICATION IN THE PRE-WAR SOVIET COUNTRYSIDE*

S. Merl

Bielefeld University

University St., 25, 33615, Bielefeld, Germany

(e-mail: smerl@uni-bielefeld.de)

The author aims to debunk the Soviet official myth of local administration as being weak and not functioning effectively. The Soviet regime could not function in the way it pretended to, and the official picture of the economy was far from the reality though played a central role in the political discourse for the aims of legitimacy. The command economy actually functioned as a symbiosis of commands and threats ‘from above’ and corrupt practices of the majority of people including officials. However, this symbiosis worked quite successfully in industry ensuring impressive rates of growth, but not in agriculture and rural areas. Certainly, the kolkhoz system also combined severe control and treats with tolerance to corrupt practices condemned in the official slogans so as to save people from starvation. However, in the countryside the myth that rural administration was weak and wrongdoing proved to be the strongest basis of the regime for it corresponded to the firm conviction of rural people and traditional expectations that Stalin would pursue the paternalist rule as a “good tsar” by punishing local officials (as scapegoats) and by removing them from office (after blaming them for regime’s shortcomings as incompetent managers). To keep people from protests and rebellions the rural officials’ task was not only to use force and intimidation during the campaigns, but also to look away allowing the *kolkhozniki* from time to time to betray the state as compensation. Thus, the Soviet rural administration fulfilled its functions set by the regime, such as ensuring political communication for the aims of the faith in the legitimacy of the political rule. The author also considers a vertical channel of communication between the people and the regime — petitions to the ruler. Soviet people were encouraged to write letters including complaints to “bargain” personal dissatisfaction. Soviet peasants considered such a communication as a privilege and a part of the paternalist rule. For the regime, the most important function of such letters was preventing local protests by the timely reaction so as not to let the dissatisfaction to reach a critical level. Peasant letters became an additional means of control over rural officials that put limits to their arbitrariness.

Key words: local administration; countryside; Soviet regime; political rule; political discourse; political communication; legitimacy; command economy; corrupt practices; kolkhoz system; rural officials

The Soviet local administrations are considered to have been weak and, thus, were not functioning in the way the state or Stalin expected. The rural officials were blamed for mistakes in implementing the general policy due to their as if essential weakness. However, such an argument should be examined in the framework of implementing the state policies, and, for instance, the tasks of the local rural administration changed greatly in the early 1930s. Under the collectivization the peasants were forced to work for the state without salary, so preventing peasant rebellions became the top state priority. While at the end of 1920s rural administration was to convince peasants, from 1930s the task was to intimidate them by exercising violence and breaking the will of

* S. Merl, 2016.

the peasantry by brute force. In other words, the rural administration were not weak and did an excellent job considering the priority aims of the regime — preventing peasant rebellions.

The dictatorship could not function in the way it pretended to. The official picture of the economy as ensuring a wealthy living to all Soviet people was far from the reality though played a central role in the political discourse for the aims of legitimacy (in Weber's terms). From the early 1930s the economy never worked only by the Stalin's commands, and the government had to accept the widespread and officially forbidden corrupt practices such as bargains with the controlling officials in the commissariats to 'soften' the plans, networks to conceal the losses of means of production by paying bribes, *blat* and false reports to hide and compensate for the worst shortcoming of the central orders and to achieve economic growth. Only (not always conscious or explicit) tolerance to these practices allowed Stalin to achieve economic successes and present himself as an irreplaceable arbitrator of economic interests [3; 9; 15]. The command economy actually functioned as a symbiosis of commands and threats 'from above' and corrupt practices of the majority of people including officials and directors of industrial enterprises and collective farms.

The command economy worked quite successfully in industry ensuring impressive rates of growth, but was not efficient in agriculture at all. The kolkhoz heads lacked any autonomy and did not dispose of salary funds (as in industry) to pay bribes for the needed means of production not provided by the state [18]. So, the kolkhoz system also combined severe control and threats with tolerance to corrupt practices condemned in the official slogans so as to save people from starvation. Certainly, the terror alone cannot ensure functioning of neither industry nor agriculture, especially if contradicting orders 'from above' prove that 'breaking the law' was the only way to keep up the regime [7; 17], while respecting the law and the official slogans would have lead to sabotage and repressions.

It was essential for the regime to keep the rules of the game described above secret. The myth that rural administration was weak and wrongdoing proved to be the strongest basis of the regime in the countryside for it corresponded to the firm conviction of rural people that local officials were wrongdoing and traditional expectations that Stalin would pursue the traditional paternalist rule as a "good tsar". By punishing local officials as scapegoats and by removing them from office, Stalin succeeded in putting the responsibility for regime's shortcomings on the local rural officials as incompetent (economically ineffective) managers. However, if we take into account that under the severe hardships such as the "great famine" of 1932—1934 the local officials succeeded in keeping about 100 million peasants from rebelling against their miserable living conditions, the effectiveness of the local administration in securing the Soviet regime becomes evident (effective control rather than effective management of production).

After the revolution, the state apparatus consisted of locally elected soviets. The rural soviets in the 1920s co-existed with the traditional administration of village communes, the elders and village assemblies [20]. The influence of the local soviets on the rural life besides tax collection and state campaigns was not too strong due to their rather limited tasks such as organizing the production on the land allotments of peasant

communes. After the 1924 election campaign to the rural soviets, due to the low peasant participation the Party changed the agricultural policy to the *litsom k derevne* (turning the face to the village), which positively affected the peasants' perception of the regime and produced incentives to increase agricultural production. Many peasants joined cooperatives and some 'middle peasants' decided to join the Party, but the trust to the Soviet regime ended in 1927 due to the state discrimination of the better-off peasants by the tax policy and disenfranchisement of the *kulaks* [12. P. 291—309, 411—436]

In 1928, the local rural administration turned into a means of violence and pressure that destroyed the power of traditional institutions of peasant self-government within village communes, and deprived the peasants of any possibility to express legally their will. This rupture was accompanied by the forced expropriation of grain in winter of 1927—1928 after the state introduced an additional tax to make peasants sell their grain harvest. There was no legal basis for any additional tax, therefore, the state introduced the so-called 'self-taxation' (35% of the state agricultural tax), which was a contradiction in itself and, thus, entailed the state violence [12. P. 368—388].

In the majority of villages, the peasants saw no local needs for such a tax and refused to vote for it under the pressure of local administration. All state officials happened to stand under the threat to be removed from office if he did not want or was not able to exercise the necessary pressure on peasants or to arrest those speaking or voting against the necessary decision. To incorporate peasants into such binding decisions, the state used 'closed assemblies' governed by the rules of interpersonal communication [6; 17. P. 48—81] and headed by a Party official. A dissent voting was impossible due to the question wording: the voting was not about the self-taxation, but about consent or dissent with the Soviet rule. The voting against would lead to the accusations in being counterrevolutionary, arrest and often annihilation by the security forces. The self-taxation campaign destroyed the independence of village communes and became a dress-rehearsal for the forced collectivization that started in the winter of 1929—1930 and was imposed by the same kind of voting of the closed assemblies. Under the collectivization, the village commune finally lost its function of public opinion institution for solving peasants' problems and turned into the state means of making peasants vote for whatever the state wanted.

In implementing the state violence against peasants, the local soviets from 1928 become an effective institution within the state machine of repression for expropriating grain, collecting taxes and intimidating peasants. After the creation of *kolkhozes* the village commune's assembly was replaced by the meeting of *kolkhoz's* members that could be convoked only by the head of rural soviet or by instructors from *rayon*. The *kolkhoz* assemblies were under the state control: they had to take place at least once a year to listen to the report of the board and to elect it under the guidance of a representative of the regional Party organization. All speakers of such assemblies were to use the official speech codes to avoid arrest, and every *kolkhoz* member had to attend them to be bound by their decisions. The assemblies ensured unanimous voting for whatever the state demanded: shooting of "enemies of the people", signing state loans, giving all grain to the state, socialist competition in increasing milk yields per cow, finishing sow-

ing earlier than required by the state plan, repeating the official slogans of the Party and following the official terms in any argument (even when criticizing *kolkhoz* administration).

To estimate whether or not the Soviet rural administration fulfilled its functions, we have to identify the tasks the regime wanted it to solve. One of the requirements was to ensure a political communication for the aims of the faith in the legitimacy of the political rule. Thus, to keep up the myth of Stalin as a good tsar, the local rural officials were to be scapegoats at the grass-root level, and to take full responsibility for all shortcomings of the official policy. The regime took advantage of the fact that the majority of rural people believed that local officials were incompetent and corrupt, and at the same time they were blamed by the higher bodies if *kolkhozniki* refused to accept the self-taxation, to “voluntarily” join a *kolkhoz*, or to support the collectivization. None of these tasks could have been fulfilled without brute force. The rural officials had no other way than to use violence and to intimidate peasants by arrests, arbitrary expropriation of farm implements, and deportation of *kulak* families. Some officials tried to make impossible promises such as providing tractors after creating *kolkhoz*, which only reinforced the economic chaos and destruction of agricultural means of production.

Although the use of violence contradicted the slogans of the regime, the plenipotentiaries ‘from above’ forced the local officials to use brutal terror. Although the local officials fulfilled the Party tasks the regime blamed them for not convincing peasants “to do voluntarily” what the regime wanted them to do [10. P. 113—117]. Blaming the local officials after the end of campaigns, though the officials did exactly what they were ordered to do, became a routine. At the peak of the famine in 1933, Stalin blamed the local officials and activists in Ukraine for wrongdoings [13. P. 50—53]. The local officials were accused of distorting the campaign slogans that supposed convincing peasants to voluntarily join the *kolkhoz* or give the state their last reserves of grain. The rural officials were punished or repressed even if they did cope with the state tasks for making them scapegoats for that was the regime’s symbolic game. The main idea of blaming the local officials was to create confusion about regime’s aims and responsibility [18]. About a third of the elected rural officials were removed every year from office mostly during the state campaigns [14. P. 90—120, 234—249]. Thus, the state succeeded in killing two birds with one stone: the local people were satisfied that the state punished unpopular officials, while the state was glad not to lose effective officials capable of using brute force. At the peak of state campaigns, some peasants wrote letters to Stalin accusing local officials of wrongdoings. By punishing some of his loyal officials, Stalin contributed to the credibility of the myth of being a wise father of the people. Under the state campaigns, the force was always used, while the scapegoats were chosen only after the end of the campaigns.

In 1930, the rules of the game still caused some misunderstandings and demoralization among officials, who did not understand why they were blamed for wrongdoings if they had exactly executed the orders ‘from above’. However, soon rural officials got used to the rules, accepted their double functions, and realized that repressions against them in general were the result of not using brute force. The discrepancy between cen-

tral government's orders to "convince" and the real pressure to use force against peasants is a typical example of "regressive learning" in the political communication under a dictatorship [11]. People learnt to praise the regime while breaking the official rules at the same time, that is why words and slogans lost their meaning for guiding actions. Moreover, many orders of the Party were so contradictory that could not be executed at the same time. The local officials had to choose which orders to fulfil under current circumstances to avoid repressions, and which to neglect not to entail problems. The contradiction between slogans and actions became normal under the Stalin's rule. Officials and rank and file repeated the slogans at closed assemblies, but acted differently. For instance, the state wanted to ensure a high grain harvest and at the same time to neutralize the peasantry, that is why although the Party required introducing scientific crop rotations, the local officials did not allow it for it would reduce the size of the sown area [18].

A new vertical channel of communication between the people and the regime gained striking importance for keeping up the regime — people's petitions to the ruler. Soviet people were encouraged to write letters including complaints to "bargain" personal dissatisfaction: the ruler reacted to the letters by sending orders or commissions to check the local situation, or by providing the needed help such as firewood to the elderly. As a rule, peasant letters were sent directly to Stalin or other members of the Party leadership. In most cases, the situation was checked and an answer was given [19]. Soviet peasants considered such a communication as a privilege and a part of the paternalist rule. Both sides involved kept the content of the letters confident so the regime was not obliged to discuss openly its shortcomings. For the regime, the most important function of such letters was preventing local protests by the timely reaction so as not to let the dissatisfaction to reach a critical level [17. P. 82—100]. Peasant letters became an additional means of control over rural officials that put limits to their arbitrariness: an unusual accumulation of letters against some official would lead to the inspection 'from above'. Thus, the letters valve function was preventing local rebellions and putting all responsibility for shortcomings on local officials by informing the "wise and just ruler". In such a way the regime took advantage of the widespread paternalist understanding of the rule: people addressed personally "Father" Stalin and other Soviet leaders and trusted not to institutions, but to personal relations between the heads of these institutions.

Besides playing a role of scapegoats, the rural officials had to provide the state with the agricultural products. As the state orders on deliveries of agricultural products and on taxes did not take into account the local need for survival, every year a big state campaign headed by plenipotentiaries was organized to fulfil the procurement plan. Every year the local officials had to "find" new *kulaks* for expropriation and "enemies of the people" to mercilessly intimidate the rest of *kolkhozniki* to make them fulfil their obligations to the state. As *kolkhozes* were interested to reduce the sown area, "taking grain" turned into a permanent fight, and local officials were to keep up a war-like situation in the countryside to meet the state requirements. The "kolkhoz system" did provide the state a huge share of the harvest, but it did not guarantee the *kolkhoz* enough grain for its own needs. Constant intimidation was a part of the production campaigns, of sowing, harvesting or keeping the cattle in winter, thus the rural population lost incentives

to produce and to increase productivity in *kolkhozes*. To prevent peasant sabotage the officials put merciless pressure in the form of “socialist competition” to achieve the state production goals. During the campaigns, peasants’ complaints were neglected not to risk achieving economic goals.

To keep people from protests and rebellions the rural official’s task was not only to use force and intimidation during the campaigns, but also to look the other side to allow the *kolkhozniki* from time to time to betray the state as compensation [17. P. 101—109]. As the corrupt practices were a means to ensure one’s survival, nearly every body in the countryside used them to provide oneself with food or other necessary goods. Stealing the “socialist property” was a basis of local survival up to the *rayon* level. The ordinary *kolkhozniki* stole from the fields for themselves as much as possible, the higher bodies used the *kolkhoz* assets for “gifts”, bribes, and *blat* within their networks, the officials’ corrupt practices included misusing the state property. All these corrupt practices required some willingness of compromise and “looking the other way” if people were doing something not officially permitted. “Stealing” from *kolkhoz* fields since August 1932 was to be punished severely; though nearly every *kolkhoznik* practiced it, very few were shot or punished at all [16; 17. P. 101—109].

The situation in the early 1930s lacked any calculability due to the arbitrariness of the state terror, but under the *kolkhoz* system, rural people regained the chance to assess the risks by grasping the rules. After grasping the rules, the *kolkhozniki* in their fight for survival started to take advantage of them: for instance, participating in *kolkhoz* work until the threshing meant that the labour days were counted for “pre-payment”, and labour days after that were worthless for nothing was left for distribution at the end of the year; therefore many *kolkhozniki* stopped working in *kolkhoz* after getting the “pre-payment” [18]. The *kolkhoz* until the 1950s was often based on the previous village communes, i.e. its members knew each other more or less, which partly protected peasants from the state arbitrariness. The local officials had to put pressure on the local people, however, under the state campaigns, the *kolkhozniki* kept the possibility of collective actions in *kolkhoz* assemblies by blaming officials not to fulfil obligations to the state. That is why usually *kolkhoz* members strongly opposed merging with another *kolkhoz* for it would bring “outsiders” in the established local community networks, whose members sometimes acted together to defend their interests.

The Soviet regime functioning was based not only on the official orders ‘from above’, but also on the regional and local officials’ knowing which of them to execute and which to neglect without risk. The best way to stay safe for the officials at different levels of the administrative hierarchy was report successes and to fulfil one’s functions without major and visible failures. False reports (higher figures of fulfilment/production than real accomplishments) was one of the means to be praised ‘from above’ and avoid any forms of repressions. False reports were more secure than telling the truth for the latter inevitable lead to inspections with usually fatal consequences for local officials [3]. In the countryside, the institutional and personal control through networks was more important than the Party membership. Admission to the Party was limited in 1933 with the start of the “purging” campaigns, and only a minority of *kolkhoz* chairmen were Party members in the 1930s. In the early 1930s joining the Party could be a start of a career,

while in the late 1930s those who had proved to be capable of fulfilling the tasks ‘from above’ were asked to become members of the Party, which positively influenced their further upward mobility and contributed to the additional control of the Party.

After destroying the still effective patriarchal system of the village, the Soviet regime was successful in organizing its active supporters from the underprivileged such as the youth lacking recognition within the traditional peasant commune, mainly women. They became team leaders, *stakhanovite* milk maids or tractor drivers [14. P. 182—188, 207—233], managed to be recognized by the regime, to be awarded prizes and privileges, and to lead political campaigns and village soviets’ commissions.

The third apparatus of the state repression was the state security that had its informants (*seksoty*) in *kolkhozes* effectively hindering any sort of organisation ‘from below’: all possible ring leaders were arrested and shot before they tried to organize resistance or sabotage. Under the great terror, the intimidation in the form of arrests became widespread and included denunciations on the basis of information about “dangerous” people ‘from below’.

Besides the state apparatus, there were also economic agencies: while state farms were under the control of Republican commissariats, the *kolkhozes* were under the control of *rayon* administration and of machine-tractor-stations. Every economic action in the countryside was under the party’s control — preparation for the spring sowing campaign (collection of seeds, preparation of rural machinery, sowing campaign itself), preparation for the harvest, harvesting and the top-priority campaign of delivering the harvest to the state. During every campaign, the officials had to report every 5 or 10 days, and the percentages of plan fulfilling were announced in the local and central media. The campaign for winter sowing and fallow ploughing overlapped with the procurement campaigns. Besides there were political campaigns: Lenin’s birthday, the soviets’ elections, awarding ceremonies for the winners of the “socialist competition”, 1st of May, October Revolution Day and so on.

The *kolkhoz* chairmen selected “their” people for administrative positions: only men for the more attractive jobs as heads of departments and brigadiers; women could be accountants and team leaders in growing industrial crops like sugar beets. A *kolkhoz* chairman had little opportunity to work successfully, and a removal from office was his normal fate. If he coped with his tasks in general, he had (provided he was a member of the limited cadre reserve of the Party boss) good chances to be sent to another *kolkhoz* or to another position at the same administrative level after the removal. There are different models of a *kolkhoz* chairman career: (1) was promoted, did not cope with the tasks, was removed and lost the position, sometimes was declared a scapegoat and repressed; (2) coped with the job as a successful manager and repressor, was removed from office as a scapegoat, was transferred to another position at the same level of hierarchy and stayed in the local cadre reserve.

At the beginning of the war and after the occupation of Soviet territories, the Germans obviously relied on the official descriptions of the regime (*kolkhoz* system and rural administration) and believed that *kolkhozes* strictly and ruthlessly controlled the

peasants. The Germans trusted in official institutions while the Russians rather in personal relations, that is why the former did not expect that every year taking grain and collecting taxes would need a new fight with *kolkhozniki* using crude methods of intimidation. They could not anticipate to what extent the *kolkhoz* system was based on the corrupt practices of stealing and on false reports, and that all *kolkhozniki* took advantage of the rules of the game in their own interests including deceiving the state in response to the terror [1; 2. P. 114—140]. The Soviet Union had “voluntarily” supplied grain to Germany in 1939—1941 according to the Hitler-Stalin pact; but under the occupational regime, the Germans did not succeed in taking the same amounts of grain. Without an effective system of control, the occupational regime started arbitrary mass repressions in response to not having its orders executed, which only strengthened the obstruction and resistance of the local people. As a result, the agricultural supplies shrank and corrupt practices strongly increased under the German occupation lacking paternalist patterns, which were the basis of the Stalin’s rule. The German rule failed to complete the task of taking agricultural products for Germany from Soviet peasants for the latter followed their own aims and were skilful in corrupt practices. The German controllers could not become a part of the local rural networks because they rationally served the German rule, while Soviet “officials” traditionally played on two fields serving both the state and peasant interests, i.e. the officials also rationally behaved in the way that would protect them best from both the state repressions and peasants’ vengeance. The Germans also could not cope with the huge amount of denunciations, most of which either were false or aimed to get rid of personal or political enemies.

The Soviet rural administration was effective in putting the state pressure on peasants, in keeping them in *kolkhozes* and in preventing peasant rebels against the regime. The rural administration did exactly what the state demanded, i.e. functioned effectively. They provided high figures of grain, milk, meat and other agricultural products supplied to the state, though these goods were in very short supply in the village and the producers were starving. They managed to collect taxes from rural population, though their money income was almost zero. The rural officials were blamed for incompetency and wrongdoing, though that was the only means of pursuing the policy of merciless use of violence against the rural population. The agricultural production did not grow not because of failures or shortcomings of the local administration, but due to the contradictory orders ‘from above’.

The rural population suffered worse exploitation than the serfs, but were aware that open resistance would lead only to arrests and executions. Therefore, they took advantage of the communication channels offered by the regime: some wrote letters to Stalin to tell about miseries and denunciate local officials responsible for them; some closed assemblies accused unpopular *kolkhoz* chairmen of embezzling agricultural products, and, thus, helped the state to find among its officials the best scapegoats as if responsible for the people’s miseries; most peasant used corrupt practices and kept silence about them [18]. The rural population accepted the Stalin’s paternalist rule to a certain extent and participated in the game of blaming local officials. It would hardly have been possible for the German occupational regime to rely on such a system.

REFERENCES

- [1] Altmann I. *Opfer des Hasses. Der Holocaust in der UdSSR 1941—1945. Mit einem Vorwort von Hans-Heinrich Nolte* (Zur Kritik der Geschichtsschreibung, Bd. 11). Gleichen/Zürich; 2008.
- [2] Berkhoff K.C. *Harvest of Despair. Life and Death in Ukraine under Nazi Rule*. Cambridge-L.; 2004.
- [3] Berliner J.S. *Factory and Management in the USSR*. Cambridge; 1957.
- [4] Die Stalinsche Staatsverfassung von 1936. H. Altrichter (ed.) *Die Sowjetunion. Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod*. Bd. 1: Staat und Partei. München; 1986.
- [5] Dobronozenko G.F. *Kulak kak ob'ekt social'noj politiki v 20-e — pervoj polovine 30-ch godov XX veka (na materialach Evropejskogo Severa Rossii)* [Kulak as an Object of the Social Policy in the 1920's — the first half of the 1930's (on the data from the European North of Russia)]. Saint Petersburg; 2008. (In Russ.).
- [6] Erren L. Stalinist rule and its communication practices: An overview. K. Postoutenko (ed.) *Totalitarian Communication, Hierarchies, Codes and Messages*. Bielefeld; 2010.
- [7] Filtzer D. Atomization, “molecularization”, and attenuated solidarity: Workers' responses to state repression under Stalin. B. Studer, H. Haumann (eds.) *Stalinistische Subjekte. Individuum und System in der Sowjetunion und der Komintern, 1929—1953*. Zürich; 2006.
- [8] Fitzpatrick S. *Stalin's Peasants. Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization*. N.Y.; 1994.
- [9] Gregory P. *The Political Economy of Stalinism. Evidence from the Secret Soviet Archives*. Cambridge; 2004.
- [10] Kindler R. *Stalins Nomaden. Herrschaft und Hunger in Kasachstan*. Hamburg; 2014.
- [11] Langenohl A. Afterthoughts on “totalitarian” communication. K. Postoutenko (ed.) *Totalitarian Communication. Hierarchies, Codes and Messages*. Bielefeld; 2010.
- [12] Merl S. *Der Agrarmarkt und die Neue Ökonomische Politik. Die Anfänge staatlicher Lenkung der Landwirtschaft in der Sowjetunion 1925—1928*. München, Wien; 1981.
- [13] Merl S. *Bauern unter Stalin. Die Formierung des sowjetischen Kolchossystems 1930—1941*. Berlin; 1990a.
- [14] Merl S. *Sozialer Aufstieg im sowjetischen Kolchossystem der 30er Jahre? Über das Schicksal der bäuerlichen Parteimitglieder, Dorfsowjetvorsitzenden, Posteninhaber in Kolchosen, Mechanisatoren und Stachanowleute*. Berlin; 1990b.
- [15] Merl S. Die sowjetische Kommandowirtschaft — warum scheiterte sie nicht früher? *Geschichte in Wissenschaft und Unterricht*, 2007;58:656—677.
- [16] Merl S. Die Korruption in Russland heute — ein Vermächtnis Stalins? C. Söller, T. Wunsch (eds.) *Korruption in Ost und West. Eine Debatte*. Passau; 2007.
- [17] Merl S. *Politische Kommunikation in der Diktatur. Deutschland und die Sowjetunion im Vergleich*. Göttingen; 2012.
- [18] Merl S. *Kak udalos' Stalinu vospriepjatstvovat' “zelenoj revoljucii” v Rossii? K voprosu o tormozhenii agrarno-technicheskogo progressa (1927—1941)* [How Stalin managed to stop the “green revolution” in Russia? On the deceleration of agrotechnical progress]. *Krest'yanovedenie. Teoriya. Istoriya. Sovremenost'*. Uchenye zapiski 10. Moscow; 2015. (In Russ.).
- [19] State Archive of the Russian Federation (GARF), fond R-5446, opisi 59, 82, 83 and 85. (In Russ.).
- [20] Viola L. *The Unknown Gulag. The Lost World of Stalin's Special Settlements*, Oxford; 2007.
- [21] Yaney G. *The Urge to Mobilize. Agrarian Reform in Russia 1861—1930*. Urbana; 1982.

ФОРМАТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В ДОВОЕННОЙ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ*

Ш. Мерль

Билефельдский университет

Университетская ул., 25, 33615, Билефельд, Германия

(e-mail: smerl@uni-bielefeld.de)

Автор стремится развенчать официальный советский миф о том, что местная власть была слабой и неэффективной. Советская система по определению не могла функционировать согласно собственным лозунгам и задачам, и официальные отчеты о состоянии экономики были далеки от реалий, хотя играли важную роль в политическом дискурсе как один из инструментов легитимации советской власти. В действительности же командная экономика превратилась в симбиоз приказов и угроз «сверху» и коррупционных практик «снизу». Впрочем, этот симбиоз оказался успешным только в промышленности, которая демонстрировала убедительные темпы роста, но не в сельском хозяйстве. Колхозная система также сочетала жесткий контроль и угрозы с терпимостью к официально порицаемым коррупционным практикам, чтобы спасти население от голода. Однако в деревнях мощным фундаментом режима оказался и миф о слабости местной власти, поскольку сельские жители верили в его правдивость и традиционно ожидали проявлений патернализма от Сталина — «хорошего царя», который наказывает нерадивых чиновников (они оказались «козлами отпущения»), снимая их с должностей (после обвинения во всех недостатках режима). Задачей сельских администраций было не только использование силы и запугивание крестьян во время государственных кампаний, но и предотвращение протестов и бунтов за счет убеждения крестьян в том, что они (чиновники) могут предать государство. Таким образом, сельские администрации выполняли возлагаемые на них режимом функции, в частности, обеспечивали политическую коммуникацию, поддерживающую веру в легитимность политического строя. Автор рассматривает и вертикальный канал коммуникации между населением и режимом — петиции правителю. Власть призвала население писать письма, включая жалобы, чтобы выплеснуть накопившееся недовольство. Советские крестьяне считали подобную коммуникацию привилегией и частью патерналистского правления. Для власти главной функцией подобных писем было предотвращение протестов за счет своевременной реакции на недовольство, пока ситуация не достигла критического уровня. Крестьянские письма, тем самым, стали дополнительным инструментом контроля над сельскими чиновниками, ограничивая их произвол.

Ключевые слова: местная власть; деревня; советская власть; политический режим; политический дискурс; политическая коммуникация; легитимность; командная экономика; коррупционные практики; колхозная система; сельские чиновники

* Мерль Ш., 2016.



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-202-212

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*

А.И. Кравченко

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ГСП-2, Ленинские горы, Москва, 119992, Россия
(e-mail: kravchenkoai@mail)

В статье рассматривается Московская социологическая школа, которая существовала в 1960—1970-е гг. и объединяла вокруг главного проекта «Социальная организация» талантливых московских социологов и философов. Под руководством Н.И. Лапина они совершили методологический прорыв, который не был правильно понят в те годы и не оценен по достоинству сегодня. Понятие «трудовой коллектив», при помощи которого подавляющее большинство советских ученых описывало персонал промышленного предприятия или рабочую бригаду, несло в себе огромный идеологический потенциал и было политически ангажированным. С его помощью не столько объясняли получаемые эмпирические данные, сколько демонстрировали высокую социалистическую мораль трудящихся и сплоченность вокруг руководящей роли партийной ячейки. Созданный в 1968 г. сектор изучения трудовых коллективов через год был преобразован в отдел, сотрудники которого следили за всеми новинками мировой науки. Именно благодаря основательному знакомству с ее достижениями понятие «трудовой коллектив» постепенно эволюционировало в более плодотворное и открывающее новые перспективы понятие «социальная организация» предприятия. Такой методологический ход позволил использовать модный в те годы системный подход, опереться на разработки западной социологии, прежде всего, структурно-функциональный анализ, и мотивационные модели социального взаимодействия, созданные в рамках менеджмента. Всего за пять лет участники проекта провели 28 эмпирических исследований на 100 объектах. Общее число респондентов — около 25 тысяч. Список публикаций сотрудников проекта включает 35 монографий, 10 проблемно-тематических сборников и более 50 статей. А всего на счету участников проекта свыше 600 публикаций. Коллектив ученых был распущен по политическим мотивам.

Ключевые слова: социальная организация; научная школа; управление; социология; трудовой коллектив; экологические факторы; человеческий потенциал; социотехническая система

Наряду с Ленинградской и Новосибирской школами Московская социологическая школа была в 1960—1970-е гг. самой многочисленной и плодотворной. Конечно, существовали и другие, региональные научные школы, в том числе таллиннская (социология профессий), одесская (мотивация труда), минская (культура труда), уральская (рабочий класс). Но Московская школа социальной организации, сформировавшаяся на исходе хрущевской оттепели (1968) и погибшая в начале брежневского застоя (1973), занимает особое место.

Объединительной почвой для формирования научной школы послужила работа социологов над грандиозным проектом «Социальная организация промыш-

* © Кравченко А.И., 2017.

ленного предприятия: соотношение планируемых и не планируемых (спонтанных) факторов социальных процессов» (СО), проходившая в четыре этапа:

1. С июля 1968 г. по февраль 1969 г.: подготовлена и утверждена дирекцией Института конкретных социальных исследований (ИКСИ) предварительная программа проекта.

2. С марта 1969 г. по март 1971 г.: выполнен полный вариант проекта, а основные идеи специальных программ проекта доложены и обсуждены на Всесоюзном рабочем совещании, в котором приняли участие 110 человек, представлявших 28 научных организаций из 11 городов страны.

3. С апреля 1971 г. по апрель 1972 г.: с учетом замечаний, высказанных на рабочем совещании, доработана теоретическая часть программы, подготовлено значительное число методик, многие из которых апробированы в пилотажных исследованиях на ряде предприятий страны.

4. С мая 1972 г. по июнь 1973 г.: безуспешные попытки спасти проект от разгрома новой дирекции ИКСИ. В июне 1973 г. проект формально перестал существовать [1. С. 34—35].

За кратким взлетом и падением московской школы стоит драма не только отдельного коллектива ученых, но и отечественной социологии в целом, оказавшейся не в состоянии протестовать против власти, бороться с всемогущим ЦК КПСС, беспомощность советской интеллигенции, успевшей расправить крылья в краткий период политической свободы, но не научившейся ими пользоваться. В 1968 г. после долгих мытарств и скитаний по коридорам Кремля удалось учредить ИКСИ, набрать плеяду молодых и очень одаренных ученых буквально со всех концов страны, выслушать и обсудить их амбициозные научные проекты, а в 1972 г., когда к руководству ИКСИ пришел новый директор, ставленник ЦК КПСС, лучших сотрудников разогнали, проекты приостановили, а социологическую мысль загнали в подполье.

Только спустя 30 лет из этого самого подполья извлекли секретные материалы (и это не гипербола: именно под грифом «секретно» первый вариант проекта был издан мизерным тиражом при советской власти) и опубликовали в книге «Социальная организация промышленного предприятия» (2004) [1]. Ныне уже можно говорить, что она значит для российской науки ничуть не меньше, чем знаменитая книга ленинградцев «Человек и его работа» (1967).

С возникновением ИКСИ (1968) был создан сектор изучения трудовых коллективов (12 человек), который в 1969 г. был преобразован в отдел (25 человек). Отделом первое время руководил Г.В. Осипов, затем — Н.И. Лапин. Он и стал вдохновителем, а затем руководителем проекта СО. Вспоминая о том периоде, Н.И. Лапин писал «...как видение предмета исследования эволюционировало от понятия *трудовой коллектив* к понятию *социальная организация* предприятия. Первое было традиционным для советского обществоведения, и я от него не отказывался. Но второе оказалось теоретически более богатым и методологически более продуктивным. Оно позволяло, используя системный подход, вобрать также и новейшие проблемы, которые разрабатывались западной социологией, прежде всего на основе структурно-функционального анализа» [1. С. 10—11].

Действительно, увлечение системным подходом в те годы было чуть ли не головной модой. Им «переболели» все — социологи, экономисты, психологи, философы, математики, физики и др. Как и положено модному увлечению, оно пришло с Запада, но очень быстро ему нашли «правильные» истоки — некоторые высказывания К. Маркса из учения о диалектической логике и «Тектологию» А.А. Богданова. Без этого легализовать новое теоретическое поветрие в общественности той поры было невозможно — за всеми процессами бдительно следила идеологическая цензура. Разработчики проекта с гордостью заявляли: «Новизна состояла в том, что в качестве гносеологической модели было взято представление из кибернетики о производстве как об управляемом процессе, у которого есть входы, выходы, цели и обратная связь. На входе производственного процесса, который был тогда и остается сейчас кибернетическим «черным ящиком», две разные по своей природе переменные: промышленный и социальный потенциал, т.е. хорошо спланированная и организованная материально-техническая база и склонные к спонтанности люди, работники разной квалификации, жизненного и производственного опыта, с разными интересами и ценностными ориентациями, определенным образом организованные» [1. С. 79]. Никогда раньше и никогда позже отечественные социологи уже не злоупотребляли кибернетической терминологией и системными метафорами.

Смена названия — с трудового коллектива на социальную организацию — весьма примечательное событие. На мой взгляд, дело вовсе не в том, что, как пишет Н.И. Лапин, второе понятие оказалось «теоретически более богатым и методологически более продуктивным». Социальная организация — понятие ничуть не богаче, ни теоретически, ни методологически, чем понятие «трудовой коллектив». Но оно, во-первых, в идеологическом и ценностном смысле более нейтральное, во-вторых, принятое в мировой социологии, а потому позволяющее использовать в научном поиске накопленный за рубежом опыт, в-третьих, оно более понятно зарубежным социологам, а потому годится как средство научной коммуникации в отличие от весьма специфического марксистского термина «трудовой коллектив». Наконец, от него меньше «отдает нафталином», если можно так выразиться. Идейный пафос трудового коллектива восходит к положениям французского утопического социализма, возникшего 200 лет назад.

Советские социологи-шестидесятники, в массе своей более продвинутые и прогрессивно мыслящие, нежели их коллеги-философы, активно стремились к международным контактам и интеграции в мировое сообщество. Откровенно признаться в этом они тогда не могли, но мысли и идеи они высказывали очень близкие к тому, о чем говорили и писали, скажем, Т. Парсонс и М. Крозье (с которыми Н.И. Лапин лично встречался). Приходилось выражаться эзоповым языком, о чем впоследствии в своих воспоминаниях оговаривались практически все корифеи нашей социологии. Социальная организация — понятие из этого ряда. Как теперь оказалось, прием был выбран правильный и своевременный. Кто ныне читает книги о трудовом коллективе? Практически никто. А книги о социальной организации и социологии организаций? Фактически все, включая и самое молодое поколение. Вот почему в своих воспоминаниях о проекте СО Н.И. Лапин,

А.В. Тихонов, В.Н. Шаленко, А.И. Пригожин справедливо утверждают, что ими была открыта новая страница в отечественной социологии — социология организаций, социология управления (названия разные — суть одна).

Правда, с течением времени содержательный и исторический контекст употребления термина «социальная организация» сильно изменился. Ныне он почти всегда связывается с менеджментом и социологией организаций. В 1970-е гг. никакого менеджмента в СССР не существовало: было народно-хозяйственное управление, а идеологию менеджериализма полагалось критиковать. И по делу, ведь управление отражает плановую экономику, а менеджмент — рыночную, т.е. капиталистическую. Да и идейная база у менеджериализма «гнилая» — чуждая советскому строю буржуазная идеология. Хотя в публикации 2005 г. авторы знаменитого проекта утверждают, что он являлся первой страничкой новой дисциплины — социологии управления, относиться к этому, на мой взгляд, необходимо с определенными историческими уточнениями.

Никакой социологии управления или менеджмента под социальной организацией, как ее тогда понимали, не скрывается. Что сегодня изучает социология управления или менеджмента? Вот круг проблем: управленческое консультирование, кадровый аудит, управление персоналом, структура организации, планирования персонала и построения должностной карьеры, виды и распределение должностных полномочий, делегирование полномочий, регламентация должностных прав и обязанностей, пути рационализации должностной структуры, долгосрочный и краткосрочный планы работы с персоналом, анализ и формирование организационной структуры, ее оптимизация, оценка эффективности организационного строительства, эффективность процесса построения организационной структуры, организационная культура, мотивация поведения и потребности, миссия организации, процесс принятия решений, адаптация персонала и др. Социальная организация наполовину, а то и на треть своих замыслов примыкала к современному управлению. Больше же своей частью она оставалась в области традиционной социологии труда, хотя разработчики проекта СО говорили о коммуникации и управленческих решениях, социальных инновациях и культуре промышленного предприятия. И тогда, и ныне объектом социологии управления выступал и «выступает некоторый регулятивный механизм в жизни общества, который не сводится ни к проявлению власти, ни к спонтанной самоорганизации членов общества. Управление — это цивилизационное изобретение...» [1. С. 69].

Подготовительная работа по проекту «Социальная организация промышленного предприятия» началась вскоре после создания ИКСИ — уже в июле 1968 г. состоялись несколько «мозговых атак» на квартире и на даче Г.В. Осипова. У истоков проекта на первом этапе стояли: Г.В. Осипов (руководитель), Н.И. Лапин (заместитель руководителя), М.И. Бобнева, В.Г. Васильев, В.В. Колбановский, Н.Ф. Наумова. Затем в авторский совет проекта вошли: Б.З. Кононок, Э.М. Коржева, В.Б. Ольшанский, А.И. Пригожин, О.И. Шкаратан; В.Г. Васильев отошел от коллектива, организовав собственный проект по проблемам молодежи. Впоследствии совет проекта стал более компактным: Н.И. Лапин (руководитель), В.В. Колбановский, Н.Ф. Наумова, А.И. Пригожин, которых дополняли авторы и разработ-

чки шести специальных программ [1. С. 12]. Такой коллектив мог решать очень масштабные задачи. Впрочем, так они и были сформулированы. Ученым предстояло выявить, ни много ни мало, соотношение факторов стабилизации и факторов изменения социальной организации промышленного предприятия. Под стать им были и гипотезы: 1) социальная организация предприятия достаточно устойчива и плохо поддается изменениям; 2) ее изменения возможны лишь как комплексные; 3) растут требования к самостоятельности действий работников и их групп, но условия их действий остаются прежними; 4) требуется сознательное и энергичное создание новых условий.

Во всем чувствовался философский размах и склонность к высоким свершениям. С точки зрения научного метода ни одна из выдвинутых гипотез не является гипотезой — ее нельзя операционализировать и доказать на эмпирическом материале. Утверждения типа «организация не поддается изменениям» или «растут требования к самостоятельности действий работников», не говоря уже о четвертой гипотезе «требуется сознательное и энергичное создание новых условий», ни один здравомыслящий социолог на Западе никогда бы не признал гипотезами. Но в те годы так мыслили все отечественные социологи, в том числе и ленинградские, ибо вышли они из общего лона философских факультетов. Абстрактное теоретизирование вскоре дало себя знать. В октябре 1969 г. в цикле встреч разработчиков проекта встала задача «сузить предмет, не утрачивая значимости замысла проекта. Были акцентированы проблемы социальной среды предприятия, соотношения целенаправленных и спонтанных процессов, эффективности социальной организации предприятия» [1. С. 56]. Сузить — значит спуститься с облаков на землю, заняться профессиональной социологией, а не философскими мечтаниями. И надо сказать им это удалось.

Романтическая эпоха 1960-х уходила в прошлое, наступало весьма прозаическое время застоя. Народное хозяйство страны сбросило лишние темпы, возникло пробуксовывание, косыгинскую реформу 1964—1965 гг. с треском провалили. «В 1969—1970 годы выявились фактическое прекращение реформ в промышленности, тщетность надежд на социальное планирование», — пишет Н.И. Лапин. Социологи реалистичнее стали смотреть на окружающую реальность и ставить более выполнимые задачи. Выполнимость определялась не только соразмерностью научных appetитов, но и императивами исторической эпохи: восхвалять социалистическую реальность, в которой «растут требования к самостоятельности действий работников», не хотелось, а критиковать и выявлять ее язвы никто бы не дал. Так и получился компромиссный вариант проекта: повышение производительности труда, социально-экономические факторы развития производства, соотношение целенаправленных и спонтанных процессов, эффективность социальной организации предприятия. Компромиссной, а значит и жизнеспособной, была в ту эпоху вся отечественная социология.

Двигаясь от общего к частному, от абстрактного к конкретному, выслушивая возражения оппонентов и прислушиваясь к мнению коллег, разработчики проекта совершенствовали его содержание, неустанно трудясь над четкостью дефиниций, полнотой определений, непротиворечивостью изложения материала, операцио-

нальностью гипотез. Приблизительно через год работы выдвижение гипотез осуществлялось уже после эмпирической интерпретации понятий, — чтобы гипотезы были проверяемыми. Каждая выводная гипотеза формулировалась в прямой и альтернативной формах.

После длительных дискуссий разработчики пришли к новому пониманию ключевой проблемы проекта — соотношения планируемых и спонтанных процессов в социальной организации предприятия. Первые являются институциональными и нормативными, вторые — стихийными и почти незаконными. Деление на планируемые и спонтанные процессы по существу то же самое, что деление на формальные и неформальные отношения в организации. К примеру, последовательное сокращение применения ручного и тяжелого, а также неквалифицированного труда во всех отраслях народного хозяйства, или завершение механизации и переход к комплексной автоматизации производства, которые требовались директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 гг., это — планируемые процессы.

А что тогда относить к спонтанным процессам в социальной организации — массовое пьянство рабочих, матерщину и рукоприкладство мастеров, манкирование своими обязанностями начальников цехов, сознательное ограничение нормы выработки рабочими, регулярные прогулы, нарушения трудовой дисциплины и массовое воровство? Говорить вслух, а тем более писать в прессе об этом категорически запрещалось. Связанным по рукам и ногам социологам из широкого спектра социального негатива оставили только конфликты. Но и о них постоянно говорилось, что они могут играть не только негативную, но и позитивную роль на производстве, обнажая нерешенные проблемы и помогая устранять недостатки. Кроме конфликтов существовала еще нездоровая социально-психологическая атмосфера на предприятии, неудовлетворенность трудом, незаинтересованность рабочих в своем труде, рецидивы инструментального отношения к труду, неритмичный труд, сокрытие резервов производства. Иными словами, тот малый негатив, который не бросает тень на достижения социализма, легко поддается диагностике, особенно социометрической, и быстро устраняется.

Позитива в проекте СО очень много, негатива — очень мало. Иначе и быть не могло: «Современный читатель проекта „Социальная организация“, возможно, будет удивлен его языком, его постоянными ссылками на то или иное решение партсъездов, на то или иное постановление ЦК и Совмина. Но на этом языке говорила — и не могла говорить иначе — вся социология 60—80-х годов» [1. С. 42].

Поскольку отклонения в работу предприятия в значительной мере привносятся извне (а нередко только извне), разработчики составили классификации. Среди факторов СО на первое место поставили *экологические факторы*, т.е. «ближайшую географическую и общественную среду, с которой у предприятия имеется устойчивая связь, обнаруживающаяся как ареал маятниковой миграции населения, занятого на предприятии» (1). В программе были введены понятия *человеческий потенциал* и *социальный потенциал региона*, а основная проблема определена как необходимость соответствия человеческого потенциала требованиям рабочих мест предприятия. Взаимоотношения предприятия и среды рассматривались, с одной

стороны, как *стихийный процесс* спроса и предложения рабочей силы, а с другой — как *целенаправленные реакции* руководства предприятия, города или отрасли хозяйства на сложившуюся ситуацию. Мера влияния социальной среды и реакция на нее СО предприятия выступали в качестве предмета исследования [1. С. 18].

Разумеется, спонтанные процессы по определению не могли доминировать над планомерными, даже когда множились в числе или выходили за все мыслимые рамки. Социальная организация мудра по самой своей природе, ибо всегда стремится уравновесить плохое хорошим. Она устойчива, поскольку мыслится как «большая, открытая, иерархически организованная система, эквивифинально (в зависимости не от исходных условий, а от параметров самой системы), сохраняющая себя или развивающаяся в направлении подвижного равновесия» [1. С. 45].

Помимо экологических в проекте были выделены еще две группы факторов — технические (система рабочих мест) и экономические, которые изучались путем сопоставления ожидаемых, запланированных результатов с фактическими результатами деятельности трудового коллектива (2). В полном смысле экономическими их назвать нельзя, поскольку социалистическое хозяйство не имело ничего общего с рыночной экономикой, конкуренцией и прибылью, а все отношения внутри предприятия были безденежными.

Три группы факторов — экологические, технические и экономические — выполняли функцию декораций к главному спектаклю. Действующих лиц в таком сценарии было двое — социальная группа и индивид (личность). Между ними разворачивалась огромная панорама социального взаимодействия, центральным моментом которого являлся процесс управления. Соответственно им были посвящены три специальные программы: 1) «Социальные группы на промышленном предприятии и эффективность групповых процессов» (руководитель Н.И. Лапин) — самая обширная и глубоко структурированная; 2) «Индивид в промышленной организации (Механизмы социальной адаптации индивида к промышленной организации)» — Н.Ф. Наумова (руководитель), М.И. Зайцева, Э.М. Коржева; 3) «Социальные процессы управления на предприятии» — автор и руководитель А.И. Пригожин; в исследовании участвовали Б.В. Орешин, Л.С. Шилова.

Функции и предназначение этих программ были разными. Социальные группы приносили в проект социологическую (институты, статусы, роли, взаимодействие) и социально-психологическую (сплоченность, моральный климат, конфликты) проблематику. Индивид — это мир ценностей и ценностных ориентаций, интересов, мотивации, потребностей и поведения (тоже социально-психологическая тематика, но без нее не обходится ни одно западное исследование). К чести авторов проекта надо сказать, что всеми силами они старались уйти от механического подражания социальным психологам и создать свою собственную, социологическую, версию социальных групп в организации. Предприятие мыслилось ими как пересечение нескольких групп факторов: личностных (программа Н.Ф. Наумовой), локальных (поселение, программа О.И. Шкаратана), отраслевых и макросоциальных. При рассмотрении СО как системы социальных групп авторы стремились сочетать макро- и микроподходы, оставаясь при этом социологами, не переходя на позиции социальной психологии, хотя и соприкасаясь с нею. Третья

программа давала общую экспозицию постановки, поскольку при помощи управления можно было контролировать и группы, и отдельных людей. В качестве непосредственного предмета исследования были взяты процессы: 1) принятия решения; 2) осуществления решения; 3) взаимодействия решения с организационной средой.

Н.И. Лапин пришел к заключению, что в общетеоретическом плане СО предприятия — это и есть система социальных групп. При социализме, по мнению авторов проекта, она принимает специфическую форму трудового коллектива. СО (трудовой коллектив) предприятия включает:

А. Целевые группы (ЦГ), которые дифференцируются по уровням организационной структуры: от предприятия как целого до первичного звена (первичного трудового коллектива):

- на всех уровнях ЦГ включают формализованные и неформализованные компоненты или два типа организованностей, т.е. СО есть переплетение формальной и неформальной организаций (А.И. Пригожин ввел еще подтип внеформальной организации); чем выше уровень организационной структуры, тем выше степень формализации групповых отношений, и наоборот;
- на первичном уровне мы имеем дело с малыми группами — как с формальными целевыми, так и с неформальными социально-психологическими; социолога интересует прежде всего их взаимодействие, а также его влияние на эффективность предприятия.

Б. Макросоциальные группы: классово-слоевые, профессионально-квалификационные, этнодемографические.

Программу по макросоциальным группам вел В.В. Колбановский. Н.И. Лапин сосредоточился на целевых группах, в том числе малых (неформальных). Следует также отметить активную роль в проекте ленинградского социолога Г.С. Антипиной — автора первой брошюры о малых группах, соавтора ряда разделов программы по целевым группам.

Итак, сценарий будущей пьесы написан, роли распределены, герои вышли на сцену, но сигнала к действию не дают. Так уж сложились обстоятельства, что к моменту завершения теоретической фазы проекта и началу эмпирической апробации в ИКСИ сменился директор: место А.М. Румянцева занял М.Н. Руткевич. С приходом в апреле 1972 г. М.Н. Руткевича, воплощавшего установки части партийно-идеологических кругов, началось разрушение созданного в ИКСИ научного потенциала. Приказом нового директора от 28 июня 1972 г. были исключены 8 монографий и сборников из плана выпуска издательства «Наука», 25 названий — из плана выпуска ИКСИ (минуя книжные издательства), а 6 работ направлены на «дополнительное рецензирование». Это были работы Ф.М. Бурлацкого, Б.А. Грушина, Н.С. Злобина, Н.Ф. Наумовой, В.Э. Шляпентоха и др. Среди них оказались и труды проекта «Социальная организация предприятия»: сборник материалов рабочего совещания «Методологические проблемы исследования социальных групп на промышленном предприятии» и теоретико-методологическое

содержание проекта «Социальная организация промышленного предприятия» (по 35 п.л. каждый). Для М.Н. Руткевича было неприемлемо само словосочетание «социальная организация предприятия». А для его покровителя, амбициозного секретаря МГК КПСС В.Н. Ягодкина подозрительна была вся социология [1. С. 33].

Таким образом, самый грандиозный и фундаментально разработанный проект по социальной организации, реализация которого могла бы серьезно продвинуть вперед нашу науку, был похоронен своевольным решением группы партийных функционеров. Вслед за руководителем проекта СО Н.И. Лапиным летом 1973 г. из Института в другие учреждения ушли Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова, А.И. Пригожин, Е.А. Богомолова, В.Г. Погорецкий, Р.И. Хаиров и др.

Начальству ИКСИ не удалось замолчать истину, а в официальном отчете Института было сказано: «Всего за неполные 5 лет (с сентября 1968 года по май 1973 года включительно):

- ◆ Подготовлена и частично реализована программа генерального проекта «Социальная организация промышленного предприятия и пути повышения ее эффективности (соотношение планируемых и спонтанных факторов социальных процессов)», которая изложена в трех частях общим объемом свыше 35 п.л.

- ◆ Разработаны 73 методики конкретных исследований.

- ◆ Проведены 28 эмпирических исследований на 100 объектах; общее число респондентов — около 25 тысяч.

- ◆ По результатам эмпирических исследований представлены в дирекцию ИКСИ, Президиум АН СССР и партийные органы 22 докладные записки и другие материалы общим объемом свыше 30 п.л.

- ◆ Опубликованы и подготовлены к печати 98 работ общим объемом 286 п.л.

- ◆ Сделаны около 60 докладов на научных форумах в стране и за рубежом.

- ◆ Защищены и подготовлены к защите 14 кандидатских диссертаций» [1. С. 34].

Проект СО выполнил свою историческую миссию — сформировал огромный кадровый и теоретический задел на будущее. Разогнанные чиновной волей сотрудники устроились на другие места работы, продолжая научные изыскания, совершая открытия, подтверждая однажды обнаруженные выводы, проводя множество эмпирических исследований по самому широкому кругу проблем. Список публикаций сотрудников проекта СО включает 35 монографий, 10 проблемно-тематических сборников и более 50 статей. А всего на счету участников проекта свыше 600 публикаций.

Продолжались и эмпирические исследования в русле проекта «Социальная организация». Под руководством О.И. Шкаратана в Татарии велись исследования социальных проблем регионального развития. При его содействии я получил возможность применить методологию изучения целевых групп на предприятиях «Татнефти», непосредственно — в НГДУ «Альметьевнефть», где А.В. Тихонов создал социологическую лабораторию, а затем ее руководителем стал мой бывший аспирант Ю.Е. Дуберман. По его инициативе в Казани был подготовлен и издан

проблемно-тематический сборник «Социология и производство»: в него вошли статьи руководителей «Татнефти» (А.В. Валиханов, Р.Т. Булгаков) и ряда участников проекта СО: Ю.Е. Дубермана, Э.М. Коржевой, Н.И. Лапина, Н.Ф. Наумовой, Ю.Л. Неймера, А.В. Тихонова, В.Н. Шаленко. Этот сборник с интересом был встречен в «Татнефти» и работниками ряда других нефтедобывающих предприятий страны. Теоретическим обобщением и дальнейшим развитием ряда идей проекта стали 35 монографий непосредственных участников проекта «СО предприятия». Одной из мощных ветвей социологии организаций стала социология инноваций. Свидетельством современного этапа длящейся жизни проекта стали еще 10 монографий его непосредственных участников за последние двенадцать лет.

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Специальная программа «Экологические факторы социальной организации предприятия» — руководитель О.И. Шкаратан, участники — М.В. Борщевский, В.Д. Глухов и др. По сути, объектом изучения являлись социально-экологические факторы СО предприятия.
- (2) При этом следовала неременная ссылка на авангардные в те годы эксперименты Тавистокского института человеческих отношений, открывших эру социотехнических систем.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Социальная организация промышленного предприятия: соотношение планируемых и спонтанных процессов на предприятии (Генеральный проект ИКСИ АН СССР, 1968—1973 гг. Первая публикация) / Сост. и общ. ред. Н.И. Лапина. М., 2004.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-202-212

MOSCOW SCHOOL OF SOCIAL ORGANIZATION*

A.I. Kravchenko

Lomonosov Moscow State University
GSP-2, Leninskie Gory, Moscow, 119992, Russia
(e-mail: kravchenkoai@mail)

The article considers Moscow Sociological School of the 1960s — 1970s, which originated on the basis of the research project “Social Organization” developed by talented Moscow sociologists and philosophers. Under the leadership of N.I. Lapin, they made a methodological breakthrough that was not correctly understood at that time and is still underestimated. The concept “labor collective” used by the overwhelming majority of Soviet scientists to describe personnel of an industrial enterprise or a working team had a huge ideological potential and was politically engaged. This concept helped not to explain the empirical data, but rather to demonstrate the high socialist morality of the working class and its solidarity with the leading party cell. The sector for the study of labor collectives was established in 1968, and in 1969 it was transformed into a department focusing on the world science achievements. Due to the thorough study of such innovations, the concept “labor collective” gradually evolved into a more

* © A.I. Kravchenko, 2017.

fruitful and promising concept “social organization”. Such a methodological move allowed to use the system approach that was popular at that period, to rely on the findings of Western sociology, mainly on the structural-functional analysis, and on the motivational models of social interaction developed in management. In just five years, participants of the project conducted 28 empirical studies of 100 objects. The total number of respondents was about 25 thousand. The list of publications of the project participants consists of 35 monographs, 10 thematic collections and more than 50 articles (more than 600 publications in total). The team of scientists was dismissed for political reasons.

Key words: social organization; scientific school; management; sociology; labor collective; environmental factors; human potential; socio-technical system

REFERENCES

- [1] *Social'naja organizacija promyshlennogo predpriyatija: sootnoshenie planiruemyh i spontannyh processov na predpriyatii* (General'nyj proekt IKSI AN SSSR, 1968—1973 gg. Pervaja publikacija) [Social Organization of an Industrial Enterprise: The Relation of Planned and Spontaneous Processes]. Sost. i obsch. red. N.I. Lapina. Moscow; 2004 (In Russ).



СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-213-224

GLOBALIZATION OF INTERNATIONAL MIGRATION: SOCIAL CHALLENGES AND POLICY IMPLICATIONS*

I.A. Aleshkovski

Lomonosov Moscow State University
Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991, Russia
(e-mail: aleshkovski@yandex.ru)

In the second half of the XX century, the humankind witnessed the insurmountable and irreversible power of globalization processes, which influence all spheres of social life and establish a global system of interdependency between countries and nations. Globalization within impetuous changes in global political, social and economic systems has determined dramatic shifts in the international migration processes that lead to the new stage of migration history. In nowadays globalized world, international migration has become a reality for almost all corners of the globe. The author considers features of the recent trends of international migration: the unprecedented growth of the international migration flows; the widening geography of international migration that involves nearly all countries of the world; qualitative changes in the structure of international migration flows; the key role of economic migration; the permanent growth and structural intricateness of irregular migration; the increasing scale and geographical widening of forced migration; the growing importance of international migration for the demographic development of the world, countries of both origin and destination. All these trends combined prove that the international migration patterns have become more complex. The author analyzes the legal framework of the international migration processes, and gives recommendations on the ways to improve the control and regulation of migration processes. Specific issues related to the social challenges of international migration are also discussed in the article.

Key words: international migration; sociology of migration; globalization of migration; demographic development; economic development; migration policy; migration processes

THE INCREASING SCALE OF INTERNATIONAL MIGRATION

International migration has accelerated over the last fifty years. Globalization processes have set in motion vast and often uncontrolled international migration flows and, thus, turned the international migration into the most important global phenomena, which influences the world economy and international security. Today, more people live outside their countries of origin than ever before, and international migration has become much more diverse in terms of origins and destinations of migrants.

* © A.I. Aleshkovski, 2016.

The scale of the international migration flows allows considering it a phenomenon of global influence. According to the United Nations Population Division 2015 estimates, more than 244 million people live outside their countries of birth. Currently, international migrants make up nearly 1 of every 32 people in the world, almost 1 of every 8 people in the developed regions and nearly 1 of every 65 people in the developing ones [12]. All together international migrants could now constitute the world's fifth most populous nation if they all lived in the same place — after China, India, the United States and Indonesia [15].

The Table 1 shows that in the last fifty years there have been significant changes in the regional distribution of the international migration flows. If the majority of international migrants (57.2%) in 1960 settled in the developing regions, now more than half (57.6%) of international migrants has settled in the developed regions. The most perceptible changes are typical for Europe and North America where the number of international migrants has increased over the period of 1960—2015 by 5.3 and 4.3 times respectively. Currently, Europe is the region with the highest number of international migrants (more than 76.15 million people in 2015), followed by Asia (75.08) and North America (54.49) [12].

Table 1

International migrant stock at mid-year by major area/region (in millions)

Major Area, Region	1960	1970	1980	1990	2000	2005	2010	2015
World	75.46	81.34	99.28	152.56	172.70	191.27	221.71	243.70
Developed regions	32.31	38.36	47.46	82.38	103.38	117.18	132.56	140.48
Developing regions	43.15	42.97	51.82	70.18	69.32	74.09	89.15	103.22
Europe	14.24	18.79	21.89	49.22	56.27	64.09	72.37	76.15
Africa	9.13	9.94	14.10	15.69	14.80	15.19	16.84	20.65
Asia	28.48	27.82	32.11	48.14	49.34	53.37	65.91	75.08
Latin America and the Caribbean	6.01	5.68	6.08	7.17	6.59	7.23	8.24	9.23
North America	12.51	12.99	18.09	27.61	40.35	45.36	51.22	54.49
Oceania	2.13	3.03	3.75	4.73	5.36	6.02	7.13	8.10

Source: author's estimates based on [12; 13]

The important indicator, which reflects the ratio of international migration, is the growing share of international migrants in the total population of the receiving states. In 1960, there were 27 countries in the world with the percentage of international migrants up to 10%, while in 2015 the number of such countries reached 92, and in 16 countries the share of international migrants exceeded 50% [12]. The share of migrants in the total population in 1960—2015 increased most significantly in the oil-producing countries of the Persian Gulf: in Bahrain from 17.1% to 51.1%, in Kuwait — from 32.6% to 73.6%, in Qatar — from 32% to 75.5%, in the UAE — from 2.4% to 88.4%, in Saudi Arabia — from 1.6% to 32.3% (Table 2).

Thus, in the contemporary world, the international migration flows became the global phenomena, which influence all spheres of life of the global community, and international migration became one of the key factors of social and economic development of the states.

Countries with the largest share of international migrants

Country	1960	Country	2015
Israel	56.1%	UAE	88.4%
Jordan	43.1%	Qatar	75.5%
Kuwait	32.6%	Kuwait	73.6%
Qatar	32.0%	Bahrein	51.1%
Singapore	31.7%	Singapore	45.4%
Brunei Darussalam	25.2%	Oman	41.1%
Côte d'Ivoire	18.0%	Jordan	41.0%
Bahrein	17.1%	Lebanon	34.1%
Australia	16.6%	Saudi Arabia	32.3%
Canada	15.0%	Switzerland	29.4%

Source: author's estimates based on [12; 13]; only countries with the population exceeding 500 thousand

THE WIDENING GEOGRAPHY OF INTERNATIONAL MIGRATION

The widening geographical scope of international migration was determined by new social links and migration networks established between countries as a result of the globalization processes. Migration social networks facilitate potential migrants' movements by providing necessary information and assistance. Such networks can also help to overcome the restrictions in admission policies. Nowadays all countries of the world participate in the international migration to a greater or lesser extent. Even such "closed" states as Northern Korea or Cuba are getting more and more active in the migration processes though the emigration here is much more strictly controlled than immigration unlike many other countries. Despite the fact that the majority of international migrants come from developing countries, the contemporary migration flows do not have only "South — North" or "East — West" vectors. Nearly half of all reported migrants move from one developing country to another and approximately the same amount move from developing countries to the developed ones. In other words, the number of migrants who move from "South to South" is balanced by the number of migrants who move from "South to North".

In the XXI century, all countries and regions of the world are in one way or another destination for some migrants. The era of fast transportation affects every country, and international migrants can be found everywhere. According to the UN estimates, in 2015 the only sovereign state in the world with the number of international migrants less than 1 thousand people, was the Republic Tuvalu (the number of its inhabitants is below 10.5 thousand) [12]. In 1960, there were 41 countries with the number of migrants exceeding 300 thousand people, in 2000 — already 66 countries, in 2015 — 81 and in 37 the number of international migrants exceeded 1 million, while in 10 countries — 5 million. The USA are at the top of the list (46.6 million), Germany (12) and Russia (11.6) (Table 3).

Thus, the shifts in the global migration over the last 60 years were primarily determined by the considerable changes of geography of international migrant flows and by the increasing number of countries involved in the migration processes.

Table 3

Ten countries with the largest number of international migrants (in millions)

1960		2000		2015	
USA	10.83	USA	34.81	USA	46.63
India	9.41	Russia	11.90	Germany	12.01
Pakistan	6.35	Germany	8.99	Russia	11.64
France	3.51	India	6.41	Saudi Arabia	10.19
Canada	2.77	France	6.28	United Kingdom	8.54
Argentina	2.60	Ukraine	5.23	UAE	8.10
Poland	2.42	Canada	5.51	Canada	7.84
Indonesia	1.86	Saudi Arabia	5.26	France	7.78
Australia	1.70	United Kingdom	4.73	Australia	6.76
United Kingdom	1.66	Australia	4.39	Spain	5.85

Source: author's estimates based on [12; 13]

QUALITATIVE CHANGES IN THE STRUCTURE OF INTERNATIONAL MIGRATION

The profound global changes in the second half of the XX century were determined by the development of the post-industrial sector of economy and the corresponding transformation of the global labor market demands, as well as by liberal reforms and democratic shifts in the post-communist and developing countries. They encouraged a qualitatively new stage in the development of international migration with the following key changes: a shift from permanent to temporary migration, from unqualified to qualified migration, and to the feminization of migration.

The current researches do not provide reliable information on the temporary migration for temporary movements are not recorded and there is no detailed or regular information about temporary migrants. However, the surveys conducted in some countries of destination and statistics on migration prove that in the recent five decades the number of permanent (or long-term) migrants was rising gradually, while the number and frequency of short-term movements were growing much faster.

Within the international migration, the labor migration was growing most rapidly. This has to do with the greater availability of transport facilities that make migration easier and “reduce” the distance between countries and continents. Under these conditions, the temporary work abroad is more preferable than emigration, because it involves fewer material and non-material costs. On the other hand, globalization of the labor market requires more flexible migration behavior that can be partially guaranteed by the labor migration. Attraction of foreign workers on a temporary basis also corresponds to the immigration policy goals in the developed countries that form the “globalization elite” and in many respects define conditions for other countries participation in the globalization processes. The labor markets of developed countries are in a constant demand for foreign labor of two “polar” types: unqualified workers and workers highly qualified in technologies. At the same time, the demand for foreign labor in countries of destination evolves towards more qualified labor, and receiving countries encourage the qualified immigration for the needs of the national economy branches that face labor deficit.

The current shifts in the qualitative structure of migration flows mean mainly the growth of the number of professionals among international migrants. This trend is closely related to probably the most painful phenomenon within the international migration,

the so-called “brain drain”, i.e. the non-return migration of highly qualified specialists — scientists, engineers, physicians, etc. (including potential intellectuals such as students, post-graduate students, trainees). The policy aimed to attract skilled personnel from other countries is widely used by the developed countries, primarily by the USA. On the other hand, low- and non-skilled migrants face new barriers to access the countries of final destination, while the push factors in less developed states still exist together with the pull factors in receiving countries. Thus, the receiving states are to develop guest workers programs for temporary attraction of low-skilled migrants [6. P. 127—151].

Traditionally it is believed that the majority of international migrants are males, while females migrants are usually family members of male migrants. However, at the beginning of the 1990-s the researchers noticed that today more women migrate not to join their partner, but in search of better-paid employment. In 2015, women’s share of international migrants in the developed countries exceeded 51% (in the world — 48%). The share of female migrants is biggest in Nepal (69%), Moldova (65%), and Latvia (60%) [12]. In many respects, the latter fact is related to the structural modifications of the world economy that accompany globalization processes. The development of the services economy leads to the changes in the labor market structure in the developed countries (textile industry, leisure industry, social services, sex services, etc.) and to the constantly growing demand for female migrants including those occupied in unqualified jobs.

Thus, the feminization of migration flows is one of the important trends in the contemporary international migration, which is accompanied by the increase of human trafficking, smuggling of migrants and other exploitative practices. The latter is due to the fact that women tend to work in the gender-segregated sectors of economy, such as domestic services and a leisure sphere, and they are much more likely to suffer gender discrimination than male migrants [10. P. 20]. These trends generate the challenge for defending human rights of labor migrants (mainly women) as a priority task of national and international institutes focused on migration issues.

TYPES OF THE CONTEMPORARY GLOBAL MIGRATION

The international migration flows develop under the influence of different factors, among which economic factors are preliminary. The growing role and scale of economic migration (mainly labor migration) is the most stable and long-lasting trend of international migration. It gained crucial impulse under the expansion of capitalist economy and commercialization of labor. Under the globalization of the world economy the most important challenge is the formation of the world labor market with export and import labor resources of the unprecedented scale.

Despite the fact that it is difficult to estimate the international labor migration flows for not all countries monitor such and a considerable part of labor migration is illegal, the international labor migration has gained a considerable scale and is still growing. According to the recent ILO estimates, there were 150.3 million migrant workers in the world in 2013 compared to 86 million in 2000 and 3.2 million in 1960. Almost half (48.5%) of migrant workers are concentrated in two broad sub-regions — North America and Northern, Southern and Western Europe (Table 4). These sub-regions together make up 52.9% of female migration and 45.1% of male migration [7].

Table 4

Distribution of migrant workers by sub-regions in 2013

Broad sub-region	Millions	%
World	150.3	100
Northern, Southern and Western Europe	35.8	23.8
Eastern Europe	13.8	7
North America	37.1	24.7
Latin America and the Caribbean	4.3	2.9
Sub-Saharan Africa	7.9	5.3
North Africa	0.8	0.5
Central and Western Asia	7	4.7
Arab States	17.6	11.7
Eastern Asia	5.4	3.6
South-Eastern Asia and the Pacific	11.7	7.8
Southern Asia	8.7	5.8

Source: author's estimates based on [7]

Three key factors determine expansion of international labor migration and increase of its role [6. P. 18]: the “pull” of changing demographic situation (mainly of population ageing) and labor market needs in the developed countries; the “push” of demographic factors in developing countries, of growing differences in income and possibilities between developing and developed regions, and of increasing gap between the most dynamic countries and the rest of the developing world; established inter-country networks based on family, culture and history.

Remittances are the immediate and tangible benefit of international labor migration. While receiving countries financially benefit from labor migration mainly via receiving tax payments, for sending countries the financial inflows from migrant workers are more diverse.

Thus, labor migration, i.e. global flows of human capital, has become an important factor of global economy development and at the same time a result and source of the increasing interdependence of countries and regions. The international mobility of people in search of jobs in the globalizing world will definitely increase, so it is necessary for countries of origin and destination of migrant workers to develop effective and fair means for managing labor migration.

Labor migration is closely related to another trend of the contemporary international migration — a permanent growth of irregular immigration. There are no reliable data on irregular migrants: according to different estimates, 10% to 15% of international migrants stay in the countries of destination breaking the law. In other words, irregular migrants form about a half of legal labor migration, and their number is not reducing despite restricting immigration rules and laws against irregular immigration. Moreover, countries widely using the labor of irregular migrants replenish their labor force from the developing countries. For example, Mexico, the biggest supplier of irregular immigrants in the world, is at the same time a receiving society for about 1 million irregular immigrants from Latin America and the Caribbean. It should be noted that the development of irregular immigration leads to the new categories and groups of migrants who violate the law (migration laws, labor codes, etc.), both in destination and transit countries.

Whatever routes and methods migrants use to enter a destination country and whatever methods are used to stop them, it is impossible to effectively oppose the irregular immigration under the existing capitalistic norms when employers are interested in cheap labor of irregular migrants deprived of civil rights, so irregular migrants become “pure taxpayers” beneficial for employers and for the receiving state. Combined with demographic pressure and economic push factors in sending countries, these circumstances make irregular migration in the contemporary world structurally insurmountable. The latter does not mean, however, that the scale of irregular immigration is not to be restrained. In particular, it can be done by more effective management of legal migration flows. The most important issue for receiving countries is to realize that the irregular immigration is not a form of terrorism or criminality, which needs to be fought by all state means. Nor they are to run to another extreme and open the doors wide for immigrants, so that their own citizens will have to defend their rights against undesirable invasion.

Forced migration is a variety of spatial movements and permanent or temporary changes in place of residence caused by extreme reasons not depending on people’s will (political and ethnical conflicts, natural disasters, technological and ecological catastrophes, armed conflicts, etc.). Forced migrants include refugees, internally displaced people, asylum-seekers, ecological refugees, stateless people, etc. For most of them, emergency and life-threat push factors are decisive. Increase in the scale and geography of forced migration is due to the current stage of international relations characterized by political tensions, wars, ethnic conflicts, and ecological disasters (after Second World War, there were more than 150 global and regional conflicts in the world). According to the UNHCR data, by the end of 2015 the global figure of forced migrants was 55 million, of which 13.7 million were refugees, 32.3 — internally displaced, 1.8 — asylum-seekers, and 3.5 — stateless [11] (Table 5).

Table 5

Estimated forced migration stock at mid-year by major area/region (in millions)

Major area or region	1985	1990	1995	2000	2006	2015
World	10.7	14.9	27.25	21.8	32.86	54.96
Europe	0.7	0.1	6.5	5.58	3.43	3.9
Africa	3	4.6	11.8	6.06	9.75	17.76
Asia	5.1	6.8	7.9	8.45	14.91	25.94
Latin America and the Caribbean	0.4	1.2	0.1	0.58	3.54	6.67
North America	1.4	1.4	0.9	1.05	1.14	0.62
Oceania	0.1	0.1	0.05	0.08	0.09	0.07

Source: author’s estimates based on [11]

THE INCREASING ROLE OF INTERNATIONAL MIGRATION IN THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT

For most of the history, the changes in the population size were primarily determined by natural increase of population. Mortality and fertility rates, the growing gap in demographic potentials between less developed and more developed nations, as well as globalization of the world economy have resulted in the growing role of international migration in the demographic development. Nowadays, international migration is one

of the key factors of stabilization of the world population. For the developed states, it is principal (and sometimes the only) determinant of the population growth, while in the developing states it contributes to the decrease in population growth rate and alleviates “population pressure”. Thus, net migration from less developed regions to more developed regions exceeded 100 million in 1950—2010 [15]. The global tendency of decreasing population growth in developing regions is at the initial stage, while in developed countries the rate of natural population growth is often negative. Thus, the migration potential in developing countries remains high while the developed countries depend on immigrants inflow to withstand local population ageing. In 1950—1955 the migration increase determined only 1.7% of population growth in more developed regions, and in 2010—2015 — more than 65% (Table 6).

Table 6

Indicators of demographic development of more developed regions, 1950—2015

Years	Average annual rate of population change	Average annual rate of natural increase	Average annual rate of migration increase
1950—1955	11.9	11.8	0.1
1955—1960	11.7	11.7	0.0
1960—1965	10.8	10.3	0.5
1965—1970	8.5	7.8	0.7
1970—1975	7.7	6.5	1.2
1975—1980	6.5	5.2	1.3
1980—1985	5.8	4.7	1.1
1985—1990	5.5	4.2	1.3
1990—1995	4.4	2.3	2.1
1995—2000	3.2	1.0	2.2
2000—2005	3.4	0.7	2.7
2005—2010	4.0	1.3	2.7
2010—2015	2.9	1.0	1.9

Source: author's estimates based on [15]

It is important to highlight that international migration is not only a way to increase the whole population size but it also has a positive impact on its age and gender structure. In the 1990s, the latter argument was used in the “replacement migration” concept which emphasized the potential of international migration from “demographically younger regions” to compensate for negative demographic trends in the “older” receiving states. Whether or not “replacement migration” is able to solve population ageing problem in the developed countries is still a scientific question that requires further discussion. Taking into account the constant negative trends in the demographic structure (mainly the population ageing) of developed countries, the number of immigrants required to replace them seems too large. Russia, to keep up a stable number of labor-age population, is to admit annually about 700—800 thousand migrants (net migration) and gradually increase this number up to 1.5—1.7 million by 2025 [1].

In the XXI century, depopulation trends and population ageing make international migration a non-alternative factor of the population growth in the majority of the developed countries. Thus, not only the impact of immigration on the population size in receiving countries is to be considered, but also the fundamental shifts in reproductive behavior, gender, age and ethnic structure of the receiving countries under the inflow of immigrants from distant regions.

THE INTERNATIONAL MIGRATION MANAGEMENT

The transformations of migration processes at the global scale drew scientists', officials', politicians', international public organizations' and public attention to the international migration. Also there is an obvious need for improving its management at the national and regional levels, for developing migration policies at the global level in the form of a system of international treaties, agreements and other bilateral and multilateral legal acts that would regulate interstate territorial movements of population, and pursues social, economic, demographic or geopolitical purposes. At the current stage of globalization the dual character of migration policies is clearly manifested at three levels [2]: the global (world) level — as a result of contradictions between various factors of international relations system (developed and developing countries, international organizations and individual states); the regional level — as a result of counter-acting trends for liberalization of migration regime inside integration associations and simultaneous toughening of migration policies for the third world countries; the national level — as a result of contradictions between social-demographic and economic interests, on the one hand, and national security, on the other hand. Moreover, in recent years, a policy of migrants integration in the developed countries can be implemented both at regional and national levels.

The core of international normative framework for international migration is constituted by agreements, recommendations and others legislative acts adopted at different meetings and conferences under the auspices of international organizations, mainly the United Nations and its agencies (UNFPA, UNCTAD, UNHCR), International Organization for Migration (IOM) and International Labour Organization (ILO). The Compendium of Recommendations on International Migration and Development published by the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat in 2006, defines to what extent the adopted documents should provide guidance for governments to promote co-development initiatives in international migration management [10].

The documents of conferences and summits contain various recommendations for improving migration policies, however, there is an obvious duality of approaches at the global level. It is determined mainly by various actors' contradictory interests within the international relations system. For example, there are contradictions between the main key countries of emigration and states of immigration. As a result, many documents and agreements signed at international conferences and ratified by an insignificant number of countries remain non-consummated or are applied in a limited number of countries. A typical example is the ratification of international conventions on migrant labor force that affect the economic interests of receiving states. For instance, the 1949 Convention No. 97 "On Migrant Workers" of the International Labor Organization has been ratified by only 26% of countries, and the 1975 Convention No. 143 "Concerning Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers" of the ILO — by 12%. The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families was adopted in 1990, came into force only in 2003, and has been ratified so far by only 24% of countries (Table 7).

Table 7

Ratification of international legal documents on international migration

Agreement	Year of coming into force	Participants of agreements (01.01.2017)	
		Number of countries	Share of countries
The 1949 Convention No. 97 of the ILO on Migrant Workers	1952	49	26
The 1975 Convention No. 143 of the ILO on Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers	1978	23	12
The 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families	2003	48	25
The 2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking, especially Women and Children	2003	170	88
The 2000 Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air	2004	142	73
The 1951 Convention on the Status of Refugees	1954	145	75

Source: author's estimates based on [8; 14]

At different times in history, different elements of state migration policy (emigration or immigration) dominate and define migration policies of the period. In the UN publications on demographic policies (World Population Policies Database), there is a specific chapter on different national governments' approaches to the international migration. Currently, only 13% of states (most of which are in Africa) do not regulate immigration, while 45% (mainly countries of Africa, Europe and North America) — do not control emigration. At the same time, all developed countries implement measures of immigration control, while only 20% of them regulate emigration [9].

Thus, under the contemporary conditions in the majority of countries the immigration policy prevails for the governments show great interest in what immigrants are and impose on them various requirements concerning educational level, professional training, qualification, financial position, age, marital status, etc. Special attention is paid to the last characteristics due to the situation at the national labor market, goals of demographic policy, and aims of national security.

To conclude one feature of the international migration should be emphasized: it has always been considered a function of the changing political, economic and social conditions. The states strive to solve such problems by developing a well-managed migration policy, and by taking rational decisions to use the potential of international migration in the interests of countries of origin, transit and destination. To overcome the dual character of migration policy and to take advantage of migration as a source of development is possible only with the help of a reasonable and strategic approach to the international migration management.

REFERENCES

- [1] Aleshkovski I. International migration and globalization: Global trends and perspectives. *Journal of Globalization Studies*, 2016:2.
- [2] Aleshkovski I. International migration management in the era of globalization. *Globalistics and Globalization Studies: Big History & Global History*. Volgograd; 2015.

- [3] *Compendium of Recommendations on International Migration and Development: The United Nations Development Agenda and the Global Commission on International Migration Compared*. N.Y.: United Nations; 2006.
- [4] *Declaration of the High Level Dialogue on International Migration and Development*. Resolution A/RES/68/4 adopted by the General Assembly on 3 October 2013. N.Y.: United Nations; 2013.
- [5] *Global Migration Governance*. Ed by A. Betts. Oxford: Oxford University Press; 2011.
- [6] *Handbook on Establishing Effective Labour Migration Policies in Countries of Origin and Destination*. Geneva: OSCE, IOM, ILO; 2006.
- [7] *ILO Global Estimates of Migrant Workers and Migrant Domestic Workers: Results and Methodology*. Geneva: ILO; 2015.
- [8] *ILO Information System on International Labour Standards*. <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en>.
- [9] *International Migration Policies: Government Views and Priorities 2013*. N.Y.: United Nations; 2013.
- [10] *Migration in an Interconnected World: New Directions for Action*. Report of the Global Commission on International Migration. http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/gcim/GCIM_Report_Complete.pdf.
- [11] *Populations of Concern to UNHCR*. N.Y.: UNHCR, 2016.
- [12] *Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision*. N.Y.: United Nations, 2015.
- [13] *Trends in Total Migrant Stock: The 2005 Revision*. N.Y.: United Nations; 2006.
- [14] *United Nations Treaty Collection*. <https://treaties.un.org/pages/Index.aspx>.
- [15] *World Population Prospects: The 2015 Revision*. N.Y.: United Nations; 2016.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-213-224

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ: СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ*

И.А. Алешковский

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Ленинские горы, 1, Москва, 119991, Россия
(e-mail: aleshkovski@yandex.ru)

Во второй половине XX в. человечество стало свидетелем непреодолимых и необратимых процессов глобализации, так или иначе охвативших все сферы жизни современного общества и создающих глобальную систему взаимозависимости стран и народов мира. Глобализационные процессы в сочетании со стремительными переменами в глобальных политических, социальных и экономических системах способствовали резкой интенсификации миграционных процессов и обусловили наступление нового этапа в миграционной истории человечества. В настоящее время в процессы международной миграции вовлечены все государства, а международные мигранты стали неотъемлемым элементом глобального мира. В статье рассмотрены ключевые тенденции в развитии миграционных процессов: беспрецедентное расширение масштабов международной миграции и формирование своеобразной «нации мигрантов»; расширение географии международных миграций, вовлечение в их орбиту всех стран и территорий мира; качественные изменения в структуре

* © Алешковский И.А., 2016.

миграционных потоков в соответствии с потребностями глобального рынка; определяющее значение экономической и, прежде всего, трудовой миграции; неуклонный рост и структурная «непреодолимость» нелегальной миграции; рост масштабов и расширение географии вынужденных миграций; возрастание значимости международной миграции как фактора демографического развития. В совокупности эти тенденции определяют суть современной международной миграции как глобального социально-экономического процесса. В статье проанализированы существующие на глобальном уровне механизмы регулирования процессов международной миграции и приведены рекомендации по совершенствованию миграционной политики; отдельное внимание уделено социальным последствиям международной миграции.

Ключевые слова: международная миграция; социология миграции; глобализация миграции; демографическое развитие; экономическое развитие; миграционная политика; миграционные процессы



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-225-234

ВЛИЯНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА*

Н.И. Ткачева, Л.Н. Белоножко

Тюменский индустриальный университет
ул. Володарского 38, Тюмень, 625048, Россия
(e-mail: sever626@mail.ru, e-mail: lnbelonozhko@gmail.com)

В статье представлен социологический анализ духовно-нравственных ориентиров молодежи, а также их влияния на формирование гражданской культуры, в значительной мере определяющей формы деятельности индивидов и социальных групп, функционирование социальных институтов. Реализация основной функции ценностей — достижение современной личностью не только разного рода материальных благ, но и, главное, духовного совершенствования — позволит в определенной мере преодолеть культурный разрыв между элитой и основной массой граждан, который может считаться одной из важнейших причин неудач реформирования в России. Исследования трансформационных процессов породили большой интерес к изучению социального потенциала молодежи как субъекта воспроизводства общества. Одним из факторов субъектности молодежи выступает гражданская культура, являющаяся ключевым элементом модернизации. В результате ее формирования происходит изменение и активизация ценностных ориентаций молодежи, обуславливающих качественное преобразование всех сфер общества. Эмпирическую базу статьи составили результаты авторских исследований, проведенных в течение 2016 г. среди жителей пяти городов юга Тюменской области. На основе полученных данных авторы отмечают наметившийся переход от патерналистских ожиданий, пассивности и невысоких оценок будущего к рациональности, индивидуализации, ориентации на собственные силы. В качестве одного из факторов становления гражданской культуры выделено влияние средств массовой информации, что позволило авторам обосновать влияние масс-медиа на формирование нравственных, духовных ценностей молодого поколения.

Ключевые слова: гражданская культура; модернизация; ценностные ориентации молодежи; социализация; средства массовой информации; трансформационные процессы; субъектность

Противоречивость системных преобразований в России обусловили возрастающее значение духовно-нравственных ценностей, определяющих формирование личности в условиях социальных изменений. Учет духовно-нравственной компоненты способствует успеху реформ, а ее игнорирование приводит к высоким издержкам и дисфункциям. Признавая, как и многие другие исследователи [15; 18; 25], значение гражданской культуры в реформировании общества, авторы статьи акцентируют внимание на ее духовно-нравственных аспектах, обеспечивающих, с одной стороны, стабильное существование и развитие общества, с другой стороны, задающих правила и мотивы взаимодействия людей в политике, социальной сфере и экономике. Учет духовно-нравственных основ развития общества приведет к пониманию аксиологического, нормативного, идеационального среза проводимых реформ. Необходимость выделения данного аспекта реформирования

* © Ткачева Н.И., Белоножко Л.Н., 2016.

обусловлена тем, что структурно-содержательные характеристики реформ, направленных на социально-политическое, экономическое и социокультурное развитие страны, тем самым обретут черты индивидуализации гражданских интересов, выдвинув на первый план представления о нравственном суверенитете личности, самооценности ее существования, первостепенности ее прав и интересов. А это, в свою очередь, поможет осознать как рядовому гражданину, так и представителям элиты свой гражданский долг, политическую и социально-экономическую ответственность, способствуя слиянию нравственных, правовых и этических ценностей, создающих единую базу для развития личности, общества и государства.

Наши эмпирические исследования мировоззренческих и морально-этических норм, определяющих поведение молодежи в условиях становления гражданского общества, основаны на анкетном опросе 536 респондентов в городах юга Тюменской области. Список респондентов формировался случайным образом с использованием шага, величина которого вычислялась для каждого населенного пункта и определялась пропорционально общей численности населения от 18 до 35 лет. Поскольку признание важности духовно-нравственного компонента в развитии общества актуализирует три взаимообусловленные проблемы — формирование структуры ценностей и их субъективная приоритетность; влияние ценностных установок на поведенческие практики и социальную активность индивидов; выявление факторов, определяющих формирование ценностных ориентаций молодежи, — для установления структуры ценностных ориентаций респондентам предлагалось оценить субъективную важность предложенных им приоритетов, выделенных на основе вторичного анализа современных исследований — Ю.Р. Вишневого, М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.И. Лапина, Ф.Э. Шереги, А.А. Черкасовой и др. [6; 11; 14; 21; 22; 23].

Выявленные доли позитивных, нейтральных и негативных откликов на ценности современной цивилизации представлены в таблице 1. Было установлено, что в числе безусловных приоритетов молодежи юга Тюменской области находятся образованность и здоровье (по 63%), что согласуется с результатами общероссийских исследований. Однако другая лидирующая позиция — достаток (68,3%) — подчеркнула неоднозначность полученных результатов. Так, 40,8% респондентов постулируют высшей ценностью «обретение достатка любой ценой». Вероятно, отчетливо выраженные меркантильные настроения — следствие периода финансового неблагополучия конца XX — начала XXI в., а также индикатор диспропорций в структуре российского общества. К аналогичным выводам пришла С.В. Мареева при интерпретации результатов общероссийского исследования «Русская мечта», проведенного Институтом социологии РАН в 2012 г. Отмечая рост важности потребления для россиян, она рассматривала его как результат глубоких изменений общественных отношений и психологической реакции на выход из ситуации нехватки материальных благ [12. С. 189]. В то же время значимость материальных ценностей для молодых россиян может рассматриваться в контексте зависимости от уровня благосостояния сохранения здоровья, получения образования, появления семьи и детей. Такая позиция обоснована выходом функций потребления за пределы экономической сферы жизни.

Субъективная оценка предложенных в анкете приоритетов

Приоритеты	Позитивные			Нейтральные	Негативные		
	ранг	очень важно	важно	не очень важно	неважно	неприемлемо	ранг
Иметь достаток	1	40,8	27,5	17,4	14,2	0,0	15
Быть образованным	2	38,6	24,4	27,5	9,5	0,0	17
Быть здоровым	3	34,2	28,8	23,7	13,3	0,0	16
Иметь детей	4	15,5	36,4	31,3	3,8	13,0	14
Иметь друзей	5	13,9	37,7	15,2	33,2	0,0	8
Иметь личную свободу	6	20,3	29,4	25,6	24,7	0,0	11
Быть уважаемым	7	20,6	28,5	20,3	30,7	0,0	9
Иметь семью	8	18,7	27,8	36,7	10,8	6,0	13
Жить верой	9	11,7	25,9	21,2	41,1	0,0	6
Обрести признание	10	13,0	19,0	47,8	20,3	0,0	12
Помогать другим	11	6,6	22,2	31,0	32,3	7,9	7
Получать помощь от других при необходимости	12	2,8	20,3	27,8	44,0	5,1	5
Жить трудом	13	8,9	12,3	14,9	35,8	28,2	1
Быть любимым	14	5,1	15,5	50,3	28,2	0,9	10
Быть терпимым к людям другой веры	15	7,9	10,8	29,7	28,5	23,1	3
Нести ответственность	16	1,6	14,2	29,4	27,5	27,2	2
Состоять в браке	17	5,4	6,0	38,9	19,9	29,7	4

Другим важным результатом исследования является то, что такие общечеловеческие ценности, как труд, семья, взаимопомощь, ответственность, подверглись некоторой девальвации. В наибольшей степени обесценился институт брака, оказавшийся на последнем месте в рейтинге: лишь 11,4% опрошенных считают важным и очень важным состоять в браке, а 29,7% — неприемлемым.

Лидирует по числу негативных откликов труд — 63,9% считают трудовую деятельность неважным или неприемлемым элементом их жизни. При этом экономическое поведение молодежи малых городов юга Тюменской области может быть охарактеризовано как пассивное. Рациональные экономические стратегии изменения их материального положения для них недоступны в силу худших стартовых позиций в сравнении с жителями областной столицы — более низкий уровень образования, малообеспеченность родителей, узкий и депрессионный рынок труда. Именно для молодежи малых городов работа утрачивает значение как способ самореализации и рассматривается преимущественно в качестве одного из инструментов заработка.

Приведенные результаты анкетирования интересны также с позиции оценки степени однородности или разобщенности регионального социума. Для этого ответы респондентов были соотнесены с количеством нейтральных оценок по каждому вопросу, принятым за единицу (рис. 1).

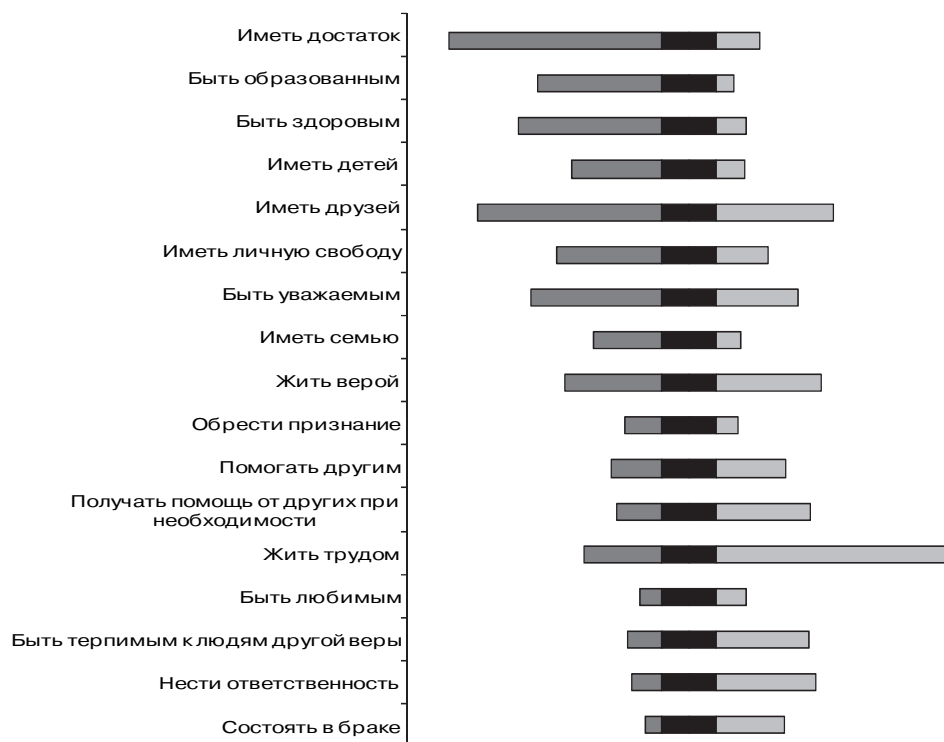


Рис. 1. Степень ценностной консолидации регионального социума

На диаграмме черным цветом показана доля нейтральных оценок, слева от которой размещены положительные, а справа — отрицательные оценки. Большой размер строки по сравнению с нейтральной оценкой отражает и более высокую степень консолидации общества в восприятии соответствующей ценности. Соответственно, примерно одинаковые по размеру строки указывают на относительное равенство позиций, демонстрируя отсутствие в обществе консенсуса по целому ряду ценностных ориентаций. На рисунке 1 очевидна крайняя дифференцированность подходов респондентов к восприятию трех панкультурных компонентов системы ценностных ориентаций личности — дружбы, уважения, и веры, для которых зафиксирована минимальная доля нейтральных оценок: молодые люди условно разделились на «сторонников» и «противников» веры, дружбы и уважения к ближнему.

Еще два аспекта — признание и любовь — привлекают к себе внимание как набравшие наибольшее количество нейтральных оценок. Молодые люди, находясь в возрасте, «сензитивном» для супружества, осознают ценность семьи, но при этом негативно относятся к браку. Доля позитивно ориентированных на незарегистрированный брак выше среди юношей. В целом в России в последние годы доля юридически оформленных союзов снижается, а число незарегистрированных браков увеличивается. Так, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., на каждую тысячу населения приходится 56 человек в зарегистрированном браке

и 78 — в незарегистрированном браке; более 1,8 тысяч человек младше 16 лет указали, что они состоят в браке, из них 1,1 тысяч — в незарегистрированном [3]. Для молодежи важным является материальное благополучие будущего избранника/цы. Ценности любви, счастливой семейной жизни уступают место таким требованиям, как материально обеспеченная жизнь, успешная карьера, независимость и свободные отношения, т.е. брак все чаще рассматривается как «материальное и сексуальное партнерство» [8; 10].

Выявленные предпочтения респондентов подтвердили усиливающуюся тенденцию к индивидуализации, которая часто проявляется в нежелании и неготовности как принимать помощь, так и оказывать: 32,3% и 44% опрошенных высказались о неважности для них названных параметров. Впрочем, необходимо подчеркнуть, что индивидуалистические ориентации могут влиять на поведение молодежи амбивалентно, делая его как социально конструктивным, так и деструктивным. Положительным является то, что почти половина опрошенных не рассчитывает на помощь со стороны и предпочитает полагаться на свои силы. Можно констатировать определенную замену патерналистских настроений идеей индивидуальной свободы, инициативы, личной ответственности. Однако негативные последствия трансформации базовых институтов российского общества состоят в утрате молодежью доверия к официальным институтам социализации, а также к транслируемым ими солидаристским ценностям.

По результатам социологического исследования были выявлены и тенденции возрастающего влияния на данный процесс средств массовой коммуникации, обусловленные техническими и коммуникативными ресурсами прежде всего электронных СМИ. Большинство респондентов (81%) отметили, что сегодня пресса и теле- и радиовещание становятся площадками для дискуссий, призванных выработать основы духовно-нравственного развития личности и общества. Причем отрицательную оценку воздействию средств массовой коммуникации дает самый большой сегмент выборки (49,4%), включая респондентов, подчеркнувших, что средства массовой информации способствуют распространению негативных социальных практик, нередко используя для этого манипулятивные техники.

Сегодня молодежь все больше привлекает внимание как объект удовлетворения политических, экономических, социокультурных и религиозных интересов узких групп, ибо она больше других поддается воздействию разных спекуляций, особенно если они построены на конкретных нуждах молодых людей. В то же время ученые, политики и представители общественных организаций во всем мире характеризуют молодежь как активного субъекта политических, экономических, культурных и социальных отношений. Несомненно, от ее выбора во многом зависит и общественно-политическое благосостояние, социально-экономическое и культурное развитие России [13; 28; 29]. Однако результаты исследования выявили в структуре ценностных ориентаций респондентов скорее неопределенную нравственную позицию: человек говорит о ценности семьи, но при этом негативно относится к браку, позиционирует веру как одну из высших ценностей, но отрицает взаимопомощь. Все это указывает не только на раздвоенность ценностного сознания россиян [2], но и на духовно-нравственную маргинализацию молодежи.

В свою очередь маргинализация — как процесс вытеснения индивидов или социальных групп за рамки господствующей общественной структуры в результате трансформаций — может привести как к дестабилизации социальной структуры, нарастанию социальной напряженности, так и к адаптации социальной структуры к вызовам современности через сохранение общечеловеческих ценностей, а также отбор и освоение новых идей.

В социологический дискурс понятие «маргинальный человек» было введено Р. Парком [16]. Определяя факторы маргинализации, он акцентировал внимание на противоречивости рыночной экономики, трансформационных процессов и урбанизации. Парк рассматривал маргинальность как источник изменений, прежде всего культурных. Характеризуя маргинализацию в контексте глобализации, Э. Гидденс и У. Бек также подчеркивали возможность появления новых критериев и рамок формирования социальной идентичности, их совмещения с культурным и социальным плюрализмом [1; 4]. Однако А. Шютц вслед за Г. Зиммелем связывал с «маргинальностью» статус «чужака» — с точки зрения функционирования социокультурных паттернов [24]. При этом Зиммель и Э. Стоунквист подчеркивали, что человек, становясь маргиналом, является источником конфликтного противостояния [9; 20]. Более того, по мнению З. Баумана, в современном мире следствием маргинализации является угроза размывания социальной идентичности [26]. Отечественные исследователи — З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян, Д.В. Петров, А.В. Прокоп и др. — считают маргинализацию опасной социальной дисфункцией [5; 17; 19].

Опираясь на результаты нашего исследования ценностных ориентаций молодежи, к числу положительных проявлений ее маргинальности можно отнести рациональность, свободу мировоззрения, к негативным — цинизм, нигилизм, социальный аутизм, отсутствие четких нравственных ориентиров. Преодоление негативных последствий маргинализации, в том числе и в социально-экономической и политической сферах, возможно через становление гражданской активности и формирование гражданской культуры — это один из базовых конструктов модернизации, определяющих развитие личности, общества и государства.

Российские исследователи, раскрывая сущностные характеристики гражданской культуры и ее роль в становлении гражданского общества, рассматривают данный феномен, с одной стороны, как некое идеальное образование, «социальную форму», позволяющую создать и упорядочить базовые элементы гражданского общества, с другой стороны, видят в ней фактор необходимой маргинализации, определяющей в условиях трансформации становление новых политических, экономических, социальных и аксиологических основ общественных отношений. При этом и зарубежные — Г. Алмонд, С. Верба, Ф. Хьюнкс, Ф. Хикспурс, и российские ученые — В.О. Руковишников, В.В. Ковалев, О.В. Омеличкин, В.Т. Шапко, рассматривая концепт гражданской культуры, подчеркивают ее политическую составляющую. Так, Ф. Хьюнкс и Ф. Хикспурс включают в понятие гражданской культуры «...противоречивые установки, желания, убеждения и ценности относительно целей общества и путей их достижения, которое формирует основу для разрешения политических проблем и противоречий разного рода, создающих политическую напряженность в обществе» [27. Р. 8].

Однако, являясь звеном политической жизни, гражданская культура выступает и важным структурным элементом всех сфер жизни общества. Более того, гражданская культура может быть представлена и на уровне всего общества и государства, и тогда она — культура согласия, в том числе политического, но может рассматриваться и на уровне отдельной личности, базируясь на ценностных характеристиках и активности молодежи как субъекта общественно-политической, социокультурной и экономической деятельности. Гражданская культура в значительной мере представляет собой составную часть образования, нацеленную на социализацию личности. Институты гражданской социализации включают как механизмы целенаправленного воздействия на личность (школа, пропаганда и пр.), так и стихийные, не поддающиеся общественному контролю (неформальные группы сверстников). Однако путем манипулирования несформировавшимся сознанием молодежи, особенно с помощью СМИ, можно добиться не только конструктивных, но и деструктивных результатов, превращая молодежь в агрессивную или безликую индифферентную массу.

Маловероятно, что медиа-элита откажется от апробированных инструментов повышения рейтинга и расширения аудитории в пользу гуманистических ценностей, поэтому действия средств массовой коммуникации, их стратегия и тактика освоения информационного пространства могут и должны подвергаться всестороннему научному рассмотрению. В частности, необходимо развивать просветительскую и образовательную деятельность в следующих направлениях: (1) создавать специальные образовательные пространства, в рамках которых можно анализировать схемы и способы деятельности отечественных и зарубежных СМИ, Интернета, создавать альтернативные им форматы работы; (2) образовательные инициативы должны коснуться и журналистов, ценностное «переориентирование» которых должно базироваться не только на положениях и требованиях закона, но и на полноценной гуманитарной профессиональной подготовке, акцентирующей внимание на закреплении духовных и нравственных установок; (3) выстраивать систему просвещения широких слоев общества, в том числе посредством СМИ, с целью корректировки информационной культуры и формирования духовно-нравственного «иммунитета» и информационной «гигиены».

Названные направления должны быть интегрированы в комплексную систему мер, направленных на формирование духовно-нравственного сознания молодежи как основы гражданской активности и участия в модернизации российского общества и государства. Духовно-нравственное совершенствование личности будет способствовать и формированию экономической культуры, развитию новых социально-экономических отношений, отражающих социально-культурные приоритеты хозяйственной деятельности, такие, как осмысленный и достойный образ жизни, нормативно-ценностное обоснование целей жизни в контексте современной социальной реальности и пр.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Бек У. Космополитическое общество и его враги // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. VI. Вып. 1.
- [2] Белова О.Р., Вишневский Ю.Р. Глобализация и развитие предпринимательства // Академический вестник ТГAMЭУП. 2012. № 2.

- [3] Вот такие мы россияне. Об итогах переписи 2010 года // Российская газета. № 5660. 22.12.2011.
- [4] *Гидденс Э.* Навстречу глобальному веку // Отечественные записки. 2002. № 6.
- [5] *Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д.* Социальная структура общества: в поиске адекватных ответов // Социологические исследования. 2008. № 7.
- [6] *Горшков М.К., Шереги Ф.Э.* Молодежь России: социологический портрет. М.: ЦСПиМ, 2010.
- [7] Готово ли российское общество к модернизации? / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.: Изд-во «Весь Мир», 2010.
- [8] *Захаров С.В., Митрофанова Е.С.* Российская молодежь в брачно-семейном интерьере // Демоскоп Weekly. 2014. № 619—620.
- [9] *Зиммель Г.* Экскурс о чужаке // Социологическая теория: история, современность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб: Владимир Даль, 2008.
- [10] *Князева Т.Х., Керефова З.Ш.* Отношение молодежи к семье и браку // Символ науки. 2016. № 4.
- [11] *Латин Н.И.* Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населения России и ее регионов // Социологические исследования. 2010. № 1.
- [12] *Мареева С.В.* В каких условиях живут и мечтают жить граждане России // О чем мечтают россияне: идеал и реальность. М.: Весь Мир, 2013.
- [13] Молодежь современной России — ключевой ресурс модернизации // http://bookz.ru/authors/kollektiv-avtorov/molodej_184/1-molodej_184.html.
- [14] *Нарбут Н.П., Троцук И.В.* Мировосприятие российской молодежи: патриотические и геополитические компоненты // Социологическая наука и социальная практика. 2014. № 4.
- [15] *Норт Д.* Понимание процесса экономических изменений. М.: ВШЭ, 2010.
- [16] *Парк Р.Э.* Культурный конфликт и маргинальный человек // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11 «Социология». 1997. № 2.
- [17] *Петров Д.В.* Молодежные субкультуры. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1996.
- [18] *Полтерович В.М.* Элементы теории реформ. М.: Экономика, 2011.
- [19] *Прокоп А.В.* Маргинализация молодежи как социальный феномен. Рукопись, депонированная в ИНИОН. М., 1996.
- [20] *Стоунквист Э.В.* Маргинальный человек: исследование личности и культурного конфликта // Личность. Культура. Общество. 2006. Т. 8. Вып. 1.
- [21] *Троцук И.В., Сохадзе К.Г.* Ценностные ориентации молодежи: подходы, методики и задачи социологического анализа // Теория и практика общественного развития. 2015. № 20.
- [22] *Черкасова А.А.* Жизненные ценности в представлениях студенческой молодежи России и США: социологический анализ // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2011. № 1.
- [23] *Шереги Ф.Э.* Политические установки студентов российских вузов // Социологические исследования. 2013. № 1.
- [24] *Шютц А.* Чужак: социально-психологический очерк // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11 «Социология». 1998. № 3.
- [25] *Almond G.A., Verba S.* The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- [26] *Bauman Z.* Modernity and Ambivalence. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1991.
- [27] *Heunks F., Hiksipoors F.* Political culture in 1960—1990. Paper prepared for the EVS-symposium on European Values. Leuden, 16—19 September, 1993.
- [28] *Lash S.* Reflexivity and its Doubles: Structure, Aesthetic, Community. Cambridge: Polity Press, 1994.
- [29] Youth in Europe: A statistical portrait // <http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/data/primary-data/2015>.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-225-234

THE IMPACT OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF THE YOUTH ON THE RUSSIAN SOCIETY CIVIL CULTURE*

N.A. Tkacheva, L.N. Belonozhko

Tyumen Industrial University
Volodarskogo St., 38, Tyumen, 625048, Russia
(e-mail: sever626@mail.ru, e-mail: lnbelonozhko@gmail.com)

The authors conducted a sociological analysis of the spiritual and moral values of the youth and their impact on the civil culture, which largely determines the forms of individual and group social activity and the functioning of social institutions. The implementation of the key function of values, i.e. the achievement of material goods and the spiritual development, to a certain extent, will allow to overcome the cultural gap between elites and common citizens, which is considered one of the main reasons for the failure of reforms in Russia. The study of transformation processes determined great interest in the social potential of the youth as a subject of social reproduction, and the civil culture is a key factor and element of modernization for it changes and activates value orientations of the younger generations and leads to the qualitative transformations of all spheres of society. The article is based on the empirical data of a number of sociological surveys conducted in 2016 in five cities of the south of the Tyumen Region. The empirical data prove that there is an obvious emerging shift from paternalistic expectations, passivity and low estimates of the future to the rationality, individualization and self-reliance. The authors emphasize the influence of mass media as one of the factors of the civil culture formation, which is evident in the impact of media on the moral and spiritual values of the younger generations.

Key words: civil culture; modernization; moral values of the youth; socialization; mass media; transformation processes; subjectivity

REFERENCES

- [1] Beck U. Kosmopoliticheskoe obshchestvo i ego vragi [Cosmopolitan society and its enemies]. *Zhurnal sociologii i social'noj antropologii*, 2003;VI(1) (In Russ.).
- [2] Belova O.R., Vishnevskij Ju.R. Globalizaciya i razvitie predprinimatel'stva [Globalization and development of entrepreneurship]. *Akademicheskij vestnik TGAMEUP*, 2012;2 (In Russ.).
- [3] Vot takie my rossijane. Ob itogah perepisi 2010 goda [That's what Russians are. The results of the 2010 census]. *Rossijskaja gazeta*. No. 5660. 22.12.2011 (In Russ.).
- [4] Giddens A. Navstrechu global'nomu veku [Towards the global age]. *Otechestvennye zapiski*, 2002;6 (In Russ.).
- [5] Golenkova Z.T., Igithanjan E.D. Social'naja struktura obshchestva: v poiske adekvatnyh otvetov [Social structure of society: In search for relevant answers]. *Sociologicheskie issledovaniya*, 2008;7 (In Russ.).
- [6] Gorshkov M.K., Sheregi F.E. *Molodezh' Rossii: sociologicheskij portret* [The Youth of Russia: A Sociological Portrait]. Moscow: CSPiM; 2010 (In Russ.).
- [7] *Gotovo li rossijskoe obshchestvo k modernizacii?* [Is Russian society ready for modernization?]. Pod red. M.K. Gorshkova, R. Krumma, N.E. Tihonovoj. Moscow: Izd-vo "Ves' Mir"; 2010 (In Russ.).
- [8] Zaharov S.V., Mitrofanova E.S. Rossijskaja molodezh' v brachno-semejnom inter'ere [Russian youth in the marriage-family interior]. *Demoskop Weekly*, 2014;619—620 (In Russ.).

* © N.A. Tkacheva, L.N. Belonozhko, 2016.

- [9] Zimmel G. Ekskurs o chuzhake [An essay about the stranger]. *Sociologicheskaja teorija: istorija, sovremennost', perspektivy*. Al'manah zhurnala «Sociologicheskoe obozrenie». SPb: Vladimir Dal'; 2008 (In Russ.).
- [10] Knjazeva T.H., Kerefova Z.Sh. Otnoshenie molodezhi k sem'e i braku [The youth's perception of family and marriage]. *Simvol nauki*, 2016;4 (In Russ.).
- [11] Lapin N.I. Funkcional'no-orientirujushhie klasteri bazovyh cennostej naselenija Rossii i ee regionov [Functional-orienting clusters of the basic values of Russia and its regions]. *Sociologicheskie issledovanija*, 2010;1 (In Russ.).
- [12] Mareeva S.V. V kakih uslovijah zhivut i mechtajut zhit' grazhdane Rossii [In what conditions do the Russians live and dream to live in the future?]. *O chem mechtajut rossijane: ideal i real'nost'*. Moscow: Ves' Mir; 2013 (In Russ.).
- [13] *Molodezh' sovremennoj Rossii — kljuchevoj resurs modernizacii* [Youth in contemporary Russia — the key modernization resource]. http://bookz.ru/authors/kollektiv-avtorov/molodej_184/1-molodej_184.html (In Russ.).
- [14] Narbut N.P., Trotsuk I.V. Mirovosprijatie rossijskoj molodezhi: patrioticheskie i geopoliticheskie komponenty [Russian youth outlook: Patriotic and geopolitical elements]. *Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika*, 2014;4 (In Russ.).
- [15] North D. *Ponimanie processa jekonomicheskikh izmenenij*. [Understanding the Process of Economic Change] Moscow: VShE, 2010 (In Russ.).
- [16] Park R.E. Kul'turnyj konflikt i marginal'nyj chelovek [Cultural conflict and marginal man]. *Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaja i zarubezhnaja literatura. Serija 11 "Sociologija"*, 1997;2 (In Russ.).
- [17] Petrov D.V. *Molodezhnye subkul'tury* [Youth Subcultures]. Saratov: Izd-vo Saratovskogo un-ta; 1996 (In Russ.).
- [18] Polterovich V.M. *Elementy teorii reform* [Elements of Theory of Reforms]. Moscow: Ekonomika; 2011 (In Russ.).
- [19] Prokop A.V. *Marginalizacija molodezhi kak social'nyj fenomen* [Marginalization of the Youth as a Social Phenomenon]. Rukopis', deponirovannaja v INION. Moscow; 1996 (In Russ.).
- [20] Stonequist E.V. Marginal'nyj chelovek: issledovanie lichnosti i kul'turnogo konflikta [The marginal man: A study of personality and cultural conflict]. *Lichnost'. Kul'tura. Obshhestvo*, 2006;8(1) (In Russ.).
- [21] Trotsuk I.V., Sokhadze K.G. Cennostnye orientacii molodezhi: podhody, metodiki i zadachi sociologicheskogo analiza [Value orientations of the youth: Approaches, methods, and aims of sociological analysis]. *Teorija i praktika obshhestvennogo razvitiya*, 2015;20 (In Russ.).
- [22] Cherkasova, A.A. Zhiznennye cennosti v predstavlenijah studencheskoj molodezhi Rossii i SShA: sociologicheskij analiz [Life values and representations of the student youth in Russia and USA: A sociological study]. *Nauchnye problemy gumanitarnyh issledovanij*, 2011;1.
- [23] Sheregi F.E. Politicheskie ustanovki studentov rossijskih vuzov [Political attitudes of Russian students]. *Sociologicheskie issledovanija*, 2013;1.
- [24] Schutz A. Chuzhak: social'no-psihologicheskij ocherk [The stranger: A social-psychological essay]. *Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaja i zarubezhnaja literatura. Serija 11 "Sociologija"*, 1998;3.
- [25] Almond G.A., Verba S. The Civic Culture. *Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press; 1963.
- [26] Bauman Z. *Modernity and Ambivalence*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press; 1991.
- [27] Heunks F., Hiksloops F. *Political Culture in 1960—1990*. Paper prepared for the EVS-symposium on European Values. Leuden, 16—19 September, 1993.
- [28] Lash S. *Reflexivity and its Doubles: Structure, Aesthetic, Community*. Cambridge: Polity Press, 1994.
- [29] *Youth in Europe: A Statistical Portrait*. <http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/data/primary-data/2015>.



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-235-252

ЛОНГИТЮДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИЭТНИЧНЫХ РЕГИОНАХ (результаты социологических опросов)*

Л.С. Рубан

Центр глобальных исследований «Восток-Запад»
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, Россия, 111250
(e-mail: lruban@yandex.ru)

В статье исследуется процесс формирования патриотического сознания у школьной молодежи в полиэтничных регионах Российской Федерации на основе крупномасштабных, не имеющего аналогов в нашей стране и за рубежом лонгитюдных межпоколенных исследований, проводимых с 1998 г. по настоящее время в 12 регионах: в Астрахани и Астраханской области, Грозном, Иваново, Краснодаре, Майкопе, Махачкале, Москве, Назрани, Нальчике, Пскове и Ставрополе. В этом проекте анализируются взгляды и позиции молодых людей, их склонность к конфликту или толерантности. Главная задача проекта — помочь в воспитании молодых поколений, устойчивых к воздействию неблагоприятных жизненных факторов и умеющих преодолевать трудности, сдерживать конфликтные реакции, умеющих отстаивать собственные интересы и уважать интересы других, тем самым развивая у молодежи умение жить в культуре согласия и толерантности, уберегая ее от ксенофобии. Для исследования этносоциального самочувствия населения, оценки его конфликтного потенциала, борьбы с ксенофобией и экстремизмом был использован непрерывный этноконфликтологический мониторинг в рамках международного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком») и программы «Молодежь в полиэтничных регионах: взгляды, позиции, ориентации» (автор является создателем и руководителем проекта и программы). Мониторинг проводится уже 29 лет, в его рамках осуществляются межпоколенные исследования, призванные показать, как идет гражданское становление и формирование этносознания у молодежи в разных регионах, а также оказывать соответствующее и своевременное влияние на молодые поколения для снижения конфликтного потенциала и формирования толерантности.

Ключевые слова: лонгитюд; полиэтничный регион; этноконфликтологический мониторинг; система школьного образования; патриотизм; патриотическое воспитание; культура межнационального общения; толерантность; предотвращение конфликтов

С 1988 г. в рамках международного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» и программы «Молодежь в полиэтничных регионах: взгляды, позиции, ориентации» автором проводится этноконфликтологический мониторинг в 12 регионах России: в Астрахани и Астраханской области, Грозном, Иваново, Краснодаре, Майкопе, Махачкале, Москве, Назрани, Нальчике, Пскове и Ставрополе — в общеобразовательных школах с многонациональным

* © Рубан Л.С., 2017.

составом учащихся. Исследовательская работа сопровождается лекциями, семинарами, тренингами и деловыми играми. Следует отметить, что получение социологических данных важно не само по себе, а для принятия действенных мер по предотвращению негативных явлений и их последствий. Это может быть воспитательное и образовательное воздействие через систему этнокультурного образования, когда представители разных этносов узнают больше объективной информации друг о друге, разработка специальных курсов по конфликтологии, психологии и этносоциологии, когда слушателей обучают, как себя вести в условиях конфликта, как учитывать интересы другой стороны, как приходиться к компромиссу или консенсусу.

Целью программы «Молодежь в полиэтничных регионах: взгляды, позиции, ориентации» является помощь в воспитании молодого человека, устойчивого к воздействию неблагоприятных жизненных факторов и умеющего преодолевать трудности, сдерживать конфликтные реакции, отстаивать собственные интересы и уважать интересы других [6. С. 9]. С помощью опросов мы изучаем, как формируется национальное сознание молодых людей, понимание ими своей национальной принадлежности (этническая самоидентификация), отношение к Родине и национальной культуре, своему народу и представителям других национальностей. Так, анализ межэтнических конфликтов показал, что активным и массовым участником в них выступает молодежь, которой удобно манипулировать из-за недостатка у нее социального опыта, относительно легкой внушаемости и доверчивости, излишне эмоциональной оценки событий. Система школьного образования была выбрана нами потому, что в течение 11 лет можно проследить, как идет формирование взглядов и позиций молодого поколения, и влиять на этот процесс в целях искоренения задатков ксенофобии и экстремизма, формирования толерантности и умения разрешать конфликты цивилизованными способами.

Выборочная совокупность проекта строилась с учетом величины населенного пункта, в котором проводился опрос, типа учебного заведения, возрастных и национальных признаков. Выборку можно охарактеризовать как территориальную, стратифицированную, квотную и пропорциональную (пол, возраст, национальность). Целевой характер выборки связан с общим концептуальным замыслом исследования, направленного на оценку национального и гражданского сознания, в том числе политической культуры, национального самосознания учащихся, особенно культуры межнационального общения и конфликтного потенциала учащейся молодежи. Полевой этап исследования был начат в Астраханской области в апреле 1990 г. в школах с изучением казахского языка, а в октябре 1990 г. был проведен опрос в городских средних общеобразовательных школах с многонациональным составом, в том числе с изучением татарского языка (с 5 по 11 классы), и в порядке эксперимента были опрошены учащиеся третьих классов. Анкеты были подготовлены с учетом возрастной специфики учащихся с постепенно усложняющимися вопросами, что позволило проследить становление и развитие национального самосознания от младшего школьного возраста к среднему и стар-

шему. Опрос учащихся с 5 по 11 классы сделал возможным проведение крупномасштабного лонгитюда с учетом естественного выбывания школьников в связи с окончанием обучения в школе.

Так как одним из основных составляющих процесса образования и воспитания в условиях многонационального (полиэтничного) региона является формирование национального самосознания, в ходе опросов учащимся предлагалось указать свою национальную принадлежность и охарактеризовать, что означает для них быть представителем своей национальности? Таким образом, выяснялось, по каким критериям учащиеся идентифицировали себя с той или иной национальностью. Первое задание не вызвало особых затруднений у большинства учащихся, которые четко соотносили (идентифицировали) себя с той или иной национальностью. Затруднились с ответом лишь 2% опрошенных и 6% школьников из смешанных семей в Астрахани в 2004—2005 учебном году и 7% — в 2015—2016, причем у 2% учащихся родители были также от смешанных браков, и школьникам приходилось выбирать даже не из двух, а из трех национальностей, например: русский — татарин — казах или русский — татарин — аварец. В Москве в 2001—2002 учебном году не ответил на этот вопрос 1% учащихся (в 1998—1999 — 2%), в 1998—1999 учебном году 1% школьников определили свою национальность как «москвичи» и 1% как «россияне». В 2015—2016 учебном году 8% опрошенных школьников в московской школе (все они были от смешанных браков) затруднились с идентификацией себя по национальной принадлежности, так как им приходилось выбирать из двух (русский—украинец, русский—турок, русский—немец, русский—татарин, армянин—еврей и т.д.) или даже из трех национальностей (например, русский—литовец—украинец), так как родители были также детьми от смешанных браков.

По второму заданию учащимся предлагалось ответить на вопрос, что для них означает быть представителем своей национальности. Таким образом, мы можем проследить, по каким критериям выстраивается национальная (этническая) идентификация учащихся. Ответы на данный вопрос представлены в табл. 1—3. Первая группа респондентов указала, что для них быть представителем своей национальности означает: «любить, уважать и гордиться своей национальностью и своей страной; всем лучшим, что есть на Родине и в родной культуре; ее историей, своим народом; своим происхождением, знать и уважать своих предков; сохранять свои национальные признаки». Ответы учащихся из второй группы тесно связаны с ответами первой, в них прослеживается межэтническая толерантность. Школьники указывают, что любовь, гордость и уважение к своему народу необходимо сочетать с уважением к другим народам: «нужно быть толерантным, по-человечески относиться к другим народам, не считать их ниже»; «уважение к представителям своей национальности, доброта не означает иного отношения к другим нациям». Как логический вывод звучат слова: «Важно, чтобы человек любой национальности был счастлив и не был унижен».

Таблица 1

Что значит быть представителем своей национальности? (в %)

Города / годы опросов	1 группа: любить, уважать и гордиться своей национальностью и страной, лучшим, что есть на Родине и в родной культуре, ее историей, своим народом, своим происхождением, знать и уважать своих предков, сохранять свои национальные признаки	2 группа: уважение к своей и другим нациям
Астрахань 1998/1999	55	9
2001/2002	56	2
2004/2005	23	1
2008/2009	27	3
2011/2012	32	
2015/2016	49	6
Барнаул 2009/2010	47	9
Иваново 2005/2006	23	
Краснодар 2001/2002	45	1
Майкоп 1999/2000	47	2
Махачкала 2001/2002	39	2
Москва 1998/1999	63	13
2001/2002	56	2
2007/2008	49	5
2010/2011	53	3
2015/2016	48	1
Нальчик 2001/2002	53	2
Псков 1998/1999	65	3
Ставрополь 2001/2002	40	6

В третьей группе учащиеся указывали, что они гордятся отличием от других народов: в Пскове в 1998/1999 учебном году 65% русских учащихся; в Москве — преимущественно школьники еврейской национальности (от 1% до 9% в зависимости от года опроса, а в 2015—2016 так ответили 6% русских учащихся, причем 1% из них указал на превосходство русской нации над другими); в Грозном в 2001—2002 гг. 13% чеченских учащихся указали, что «быть чеченцем» — значит «быть мужчиной, но не русским»; 23% учащихся в Москве в 2015—2016 г. указывали, что быть представителем своей национальности — значит достойно представлять свою нацию и страну, так как по поведению и имиджу каждого человека судят о целом народе.

Что значит быть представителем своей национальности? (в %)

Города / годы опросов	3 группа: гордятся своей особостью, отличительностью от других народов	4 группа: жить на Родине, по обычаям своего народа, быть патриотом	5 группа: быть носителем родного языка и культуры	6 группа: принимать веру своей национальности
Астрахань 1998/1999	4		11	6
2001/2002	4	14	13	3
2004/2005	3	18	4	1
2008/2009	4	7	5	1
2011/2012		16	9	3
2015/2016	6	9	11	4
Барнаул 2009/2010	9	14	19	—
Иваново 2005/2006	3		1	—
Краснодар 2001/2002	4	6	4	—
Майкоп 1999/20000	2	14	5	—
Махачкала 2001/2002	1	15	10	—
Москва 1998/1999	6	15	9	
2001/2002	7	20	5	3
2007/2008	9	28	10	
2010/2011	1	25	23	1
2015/2016	8	19	2	
Нальчик 2001/2002	13	25	11	—
Псков 1998/1999	65	16	8	—
Ставрополь 2001/2002	1	25	4	—

Характеризуя свою нацию, русские школьники на протяжении всего проекта в Москве отмечали: «русский народ — самый лучший в мире», «это уникам, с особым менталитетом», «самый выносливый», «в духовном отношении русские стоят выше народов большинства стран Запада и Америки, а русские технические специалисты высоко котируются за рубежом», при этом школьники уточняли, «хоть я горжусь своей особостью, но я не националист». В Краснодаре в 2001—2002 г. учащиеся дали схожие ответы: «русский — это звучит гордо»; «русский народ — великий народ», причем школьники подчеркивали свою особость «мы — кубанцы»; в Астрахани в 2004—2005 г. утверждали: «мы — великая держава, и русский народ самый лучший»; «быть русским — это значит быть представителем великой страны»; в 2015—2016 г. — «быть носителем национального русского менталитета» (3%), «нести с честью звание русского человека, быть достойным представителем своей нации» (3%).

Продолжение таблицы 1

Что значит быть представителем своей национальности?

Города / Годы опросов	7 группа: отстаивать интересы Родины, помогать людям своей нацио- нальности, делать все для своего народа	8 группа: все равно, нацио- нальность для них не имеет значения	9 группа: затрудняются ответить
Астрахань 1998/1999	3	6	
2001/2002	9	5	
2004/2005	4	6	23
2008/2009	3	2	1
2011/2012	5	11	18
2015/2016	3	7	8
Барнаул 2009/2010	9	5	13
Иваново 2005/2006	15	3	13
Краснодар 2001/2002	5	11	7
Майкоп 1999/2000	1	2	1
Махачкала 2001/2002	2	7	12
Москва 1998/1999	11	16	9
2001/2002	12	17	4
2007/2008	4	16	
2010/2011	12	17	10
2015/2016	6	9	2
Нальчик 2001/2002	5	4	1
Псков 1998/1999	7	7	5
Ставрополь 2001/2002	7	11	1

Из каких же признаков в сознании учащихся складывается понятие «нация»? В четвертой и пятой группах школьниками были названы конкретные консолидирующие нацию признаки: 4 группа — «жить на Родине (в России), по обычаю своего народа», «быть патриотом задумываться о будущем своей Родины»; 5 группа — «быть представителем своей нации — значит разговаривать (думать) на родном языке и гордиться этим» (причем учащиеся отмечали, что «быть носителем родного языка и культуры не означает быть затворником и интересоваться только своим»); 6 группа — «принимать веру своей национальности»; 7 группа — «быть дружелюбным, гостеприимным, но, если нужно, уметь постоять за свою нацию», «отстаивать интересы своей страны, помогать людям своей национальности в трудные минуты», «делать все возможное для своего народа»; 8 группа — национальность для них «не имеет особого значения», «не играет большой роли», «им все равно», «национальность ничего не значит», «они даже не задумывались об этом».

Впервые в 2008/2009 учебном году за весь период опросов, начиная с 1989 г., при ответе на данный вопрос были получены негативные ответы: «русским быть — нерусских бить» (1%), «быть скином!» (1%). В то же время 2% учащихся

той же школы, наоборот, указали, что для них как представителей своей нации стоит задача «бороться со скинхедами». Итак, как учащиеся осознают понятие «Родина», «Отечество»?

До начала 1990-х гг. в советской педагогике считалось, что формирование понятия «Родина» у учащихся от младших возрастных категорий к старшим идет по нарастающей: от понятия «малой Родины» (место, где родился и живешь, родной дом, село, город, где живут родные и жили предки) → к определению «край, область» и высшему уровню → «республика, страна, государство» (причем последняя градация, как считалось, была характерна больше для русскоязычного населения). Уже первые опросы, проведенные нами в 1990—1991 г., а затем в 1995—1998 г. в Астрахани и Астраханской области, показали, что учащиеся школ с многонациональным составом с 3 по 10 классы русской, татарской, казахской национальностей и представители народов Кавказа, как в городе, так и в селе дали в 1989—1991 и 1995—1998 гг. 75—80% ответов, определяющих «Родину» как «малую Родину», т.е. «место рождения и проживания, где живут родные и жили предки, где можно разговаривать на родном языке» [7. С. 137].

В ходе нашего первого опроса в Астрахани и Астраханской области в 1990 году в порядке эксперимента в базовых школах с многонациональным составом учащихся и преподаванием татарского и казахского языков было проведено анкетирование третьих классов (в возрасте 8 лет), изучающих национальный язык в городских и сельских школах [5. С. 33]. Результаты анкетирования школьников представлены в табл. 2.

Таблица 2

**Ответы учащихся третьих классов в 1990 г.
на вопрос «Что такое Родина?» (в %)**

Байбекская сельская школа с изучением казахского языка	Школа № 74 в Астрахани с изучением татарского языка
1. Место, где родился и живешь — 25	1. Город (Астрахань), место, где родился и живешь — 67
2. Это мать — 20	2. Общий дом — 8
3. Самое дорогое для нас — 10	3. Мой край — 8
4. Не ответили — 45	4. Моя страна — 8
	5. Не ответили — 4

Однако с 2000-х гг. стала складываться новая тенденция, показывающая, что у населения в целом и у молодежи в частности формируется понимание Родины как сильной державы, Отечества, защищающего своих граждан (табл. 3). Эта тенденция была выявлена при повторных опросах 2001—2007 гг. не только в Москве, но и в Астрахани, Грозном и Назрани. Учащиеся ответили, что для них «Родина» — это «место, где родился, живешь» (в том числе «родной край», «любимый город», «микрорайон», «улица»). Из них:

— «родная земля»: в Астрахани в 2004—2005 учебном году — 5%, в Ставрополе в 2001—2002 — 12%, в Грозном в 2001—2002 — 17%, 2004—2005 — 9%, в Назрани в 2001—2002 — 7%, в 2004—2005 — 21%, в Махачкале в 2001—2002 — 8%, в Нальчике в 2001—2002 — 7%;

— «родной край»: в Астрахани в 2004—2005 — 4%, в 2015/2016 — 2%, в Махачкале в 2001—2002 — 7%, в Нальчике в 2001—2002 — 5%, в Москве в 2015—2016 — 1%;

— «родной город»: в Астрахани в 2004—2005, в 2011—2012, в 2015/2016 — по 3%, в Грозном в 2001—2002 — 4%, в Ставрополе в 2001—2002 — 2%, в Нальчике в 2001—2002 — 1%, в Москве в 2015—2016 — 2%;

— «родина — это родные, семья, мать, вторая мать, родной дом» — ответы, вошедшие в эту группу составили от 6% до 27%;

— «Язык, история, обычаи, культура»: в Грозном в 2001—2002 — 4%, в Нальчике в 2001—2002 — 1%, в Астрахани в 2015—2016 — 1%.

Сравнивая соотношение трактовок родины как малой родины» и страны-государства, следует отметить, что в 2001—2002 г. у московских учащихся фиксировалось больше ответов, определяющих родину как «страну» (44%), по сравнению с пониманием родины как «малой родины — места, где родился и живешь, где дом, родные и близкие, где жили предки» (34%), однако в 2015—2016 г. эти показатели составили, соответственно, 20% и 55%. Тенденция возрастания трактовки родины как страны была выявлена в период с 2001—2005 гг. и в других регионах: в Грозном — 8% в 2001—2002 гг. и 25% в 2004—2005; в Астрахани — 23% в 2001—2002, 29% в 2004—2005, но затем произошло снижение до 19% в 2015—2016 [7. С. 138].

Интересно проследить влияние телевидения на школьников. После показа фильма «Брат-2» 10% в 2005—2006 г. в Иваново, 1% в Астрахани, по 2% Назрани и Ставрополе указали, что Родина — это: «...огромная страна: и травинка, и лесок, в поле каждый колосок, солнце, небо голубое — это все мое, родное. Это Родина моя. Всех люблю на свете я!». Прочитывая это трогательное стихотворение, те же 2% ставропольских учащихся при ответе на вопрос «Что значит быть патриотом?» ответили: «Мочить плохих, тех, кто против русских».

Таблица 3

Ответы на вопрос «Что такое Родина?»

Города / Годы опросов	1 группа: место, где родился и живешь	2 группа: страна, Россия, Отечество	3 группа: родной дом, мать семья, родные	4 группа: самое дорогое, за что можно отдать жизнь
Астрахань				
1998/1999	77	23	7	7
2001/2002	62	29	16	5
2004/2005	34	18	12	4
2008/2009	52	19	12	7
2011/2012	54		9	4
2015/2016	74	19	16	6
Барнаул				
2009/2010	65	23	9	1
Грозный				
2001/2002	38	12	18	8
2004/2005	56	25	6	9
Иваново				
2005/2006	34	22	20	15
Краснодар				
2001/2002	37	21	24	14
Майкоп				
1999/2000	62	7	11	16
Махачкала				
2001/2002	69	9	23	6

Окончание таблицы 3

Города / Годы опросов	1 группа: место, где родил- ся и живешь	2 группа: страна, Россия, Отечество	3 группа: родной дом, мать семья, родные	4 группа: самое дорогое, за что можно отдать жизнь
Москва				
1998/1999	53	25	7	1
2001/2002	34	44	18	4
2007/2008	44	47	7	1
2010/2011	49	33	27	
2015/2016	55	23	32	2
Назрань				
2000/2001	40	51	22	18
2001/2002	60	40	1	2
2004/2005	42	48	17	8
Нальчик				
2001/2002	71	9	20	7
Псков				
1998/1999	37	33	14	8
Ставрополь				
2001/2002	64	26	3	5

Патриотизм — такое состояние сознания и поведения личности, в котором происходит идентификация индивида с социально-этнической общностью. В результате этой идентификации личность испытывает патриотические чувства любви к родному языку, культуре, родным местам, природе, к своему народу, чувство национальной гордости. Ответы школьников на протяжении всего периода опросов на вопрос «Что значит быть патриотом?» можно сгруппировать следующим образом (табл. 4).

1 группа: «любить и уважать Родину, ее историю, культуру и людей всех национальностей, в ней живущих», «гордиться Родиной». В 2007—2008 учебном году московские учащиеся уточняли, что «патриотом может называться только тот, кто знает историю и культуру своего народа, природу родного края и любит его, только тогда он может быть патриотом».

2 группа: «быть преданным Родине».

3 группа: практический вклад в развитие страны: «делать все для Родины», «отстаивать ее интересы», «помогать ей», «улучшать ее положение».

4 группа: «защищать Родину». Педагогам следует обратить внимание на то, какой смысл вкладывали учащиеся школ с многонациональным составом в понятие «защита Родины». Так, в 2001—2002 г. в Ставрополе 23% школьников ответили, что для них «быть патриотом» означает «защищать Родину»: 4% опрошенных понимали это как «готовность идти на войну», «мочить плохих», «разбираться с теми, кто против русских», «быть фанатом своей страны».

5 группа: «самопожертвование во имя Родины»: «патриотизм — это способность отдать жизнь за Родину».

6 группа: «знать историю, национальную культуру, родной язык, чтить предков и соблюдать традиции своего народа»: в 2004—2005 — 9% учащихся в Грозном и 4% в Назрани; в 2011—2012 — 7% и в 2015—2016 — 4% учащихся в Астрахани.

7 группа: «быть настоящим человеком, достойным сыном Родины» — в 2004—2005 году 9% учащихся в Грозном и 12% в Назрани.

8 группа: «не скрывать свою национальность» — 4% еврейских школьников в Москве в 1998—1999 г.

9 группа: «не знают, что значит быть патриотом»: 10% в Краснодаре в 2001—2002 г., по 2% в Москве, Ставрополе и Нальчике, 12% в Иваново в 2005—2006, 5% в Астрахани в 2008—2009.

В ответах на вопросы: «Что такое патриотизм?» и «Что значит быть патриотом?» большинство опрошенных во всех регионах определили патриотизм как «любовь к Родине и гордость за нее», отметив, что это «высокое чувство, которое испытывает каждый человек к своей стране», это «нравственный и политический принцип» (табл. 4).

Таблица 4

Ответы на вопрос «Что значит быть патриотом?» (в %)

Города / Годы опросов	1 группа любить Родину	2 группа быть верным Родине	3 группа служить Родине	4 группа защищать Родину	5 группа самопожерт- вование
Астрахань					
1998/1999	53	9	17	26	7
2001/2002	39	9	16	28	16
2004/2005	36	29	15	16	5
2008/2009	40	13	9	13	4
2011/2012	40	13	10	18	
2015/2016	71	13	12	12	2
Барнаул					
2009/2010	70	6	4	11	2
Грозный					
2001/2002	50	33	25	4	
2004/2005	42	3	23	25	
Иваново					
2005/2006	50	7	6	12	1
Краснодар					
2001/2002	37	12	5	15	6
Майкоп					
1999/2000	54	20	9	28	5
Махачкала					
2001/2002	46	23	15	11	1
Москва					
1998/1999	55	11	9	7	5
2001/2002	62	9	15	12	6
2007/2008	60	7	15	10	3
2010/2011	79	7	9	7	
2015/2016	86	3	9	7	1
Назрань					
2000/2001	37	18	42	30	4
2001/2002	9	77	14	5	2
2004/2005	63		4	17	13
Нальчик					
2001/2002	65	19	7	22	1
Псков					
1998/1999	63	10	15	16	7
Ставрополь					
2001/2002	56	13	9	23	5

Следует отметить, что до конца 1990-х гг. в опросах школьников в рамках нашего проекта не было зафиксировано отрицательных ответов при характеристи-

ке понятий «патриотизм» и «быть патриотом». С 2000-х гг. часть учащихся отрицательно или безразлично трактует понятия «патриотизм» и «быть патриотом»:

— в Барнауле 1% в 2009—2010 г. — как «сумасшествие» или «мне без разницы»;

— в Махачкале 7% в 2001—2002 — «я абсолютно против патриотизма» (3%), «быть патриотом — значит жить скучно» (2%), «патриотизма сейчас нет» (1%), «я не патриот» (1%); в Астрахани в 2004—2005 — «я не патриот» (1%);

— в Ставрополе в 2001—2002 — «быть патриотом» означает «быть человеком, который помешан на слове “Родина”» (1%), у 4% понятие «быть патриотом» трансформировалось в «готовность идти на войну», «мочить плохих», «разбираться с теми, кто против русских», «быть фанатом своей страны»;

— в Москве в 1998 году 3% считали, что патриотизм — это «демонстрировать показную любовь к Родине», «отрицательное качество», «сильное заблуждение», «синоним идиотизму, разновидность благородного сумасшествия», «бить все другие нации», в 2001—2002 г. 3% полагали, что это «ничего не значит», «это пустой лозунг», «быть националистом», в 2007—2008 — что это «бред» (3%), «эгоистические интересы», «пить много водки» (по 1%) (можно сравнить с ответом в 1998—1999 г. — «русский человек с широкой душой, любит пить водку»), «последнее убежище негодяев» (1%), в 2011—2012 — «испытывать к Родине чувство гордости, боли, восхищения и сожаления» (11%), в 2015—2016 — слепая вера в свою страну, чувство, на котором играют чиновники, это средство давления на людей (4%);

— в Краснодаре в 2001/2002 — «это всего лишь термин», «патриотизм — это помешательство на чем-либо» (2%);

— в Назрани в 2001—2002 — «патриотизм — это последнее прибежище негодяев» (2%).

Мы проследили, откуда пришла к школьникам последняя цитата. Она получила известность через «Круг чтения» Л.Н. Толстого в негативном контексте [8. С. 237]: «последнее прибежище негодяя — патриотизм». Но даже в этом контексте фраза значительно отличается по смыслу от той, что получила распространение в СМИ. Само высказывание «Patriotism is the last refuge of a scoundrel» принадлежит знаменитому английскому критику и поэту XVIII в., автору «Словаря английского языка» С. Джонсону. В статье «Патриот» он указал, что патриотом является тот, чья общественная деятельность определяется лишь одним единственным мотивом — любовью к своей стране, тот, кто в парламенте руководствуется в каждом случае не личными побуждениями и опасениями, не личной добротой или обидой, а общими интересами [2]. Исходя из содержания статьи, журналист Н. Ефимов дал следующую трактовку фразы: «Не все пропало даже у самого пропавшего человека, отторгнутого друзьями и обществом, если в его душе сохраняется чувство Родины, в ней его последняя надежда и спасение» [2]. Эта трактовка вполне согласовывается с переводом фразы «Patriotism is the last refuge of a scoundrel», данным Толстым в «Круге чтения»: «Последнее прибежище негодяя — патриотизм» [8. С. 237].

По поводу этой фразы в 2000 г. была большая дискуссия в «Независимой газете» [3; 4] и в 2001 г. — в «Литературной газете» [1]. Фраза «Патриотизм — последнее прибежище негодяев» в начале 2002 г. была вынесена в название

дискуссии в передаче «Культурная революция», но школьники не будут вникать в глубину трактовок английской фразы, сказанной в 1774 г., зато короткая и хлесткая эпатажная строка «патриотизм — последнее прибежище негодяев» им запомнилась, т.е. СМИ следует быть осторожными в своих высказываниях.

Противоречивость патриотической позиции учащихся отразилась в ответах на ряд вопросов. Так, большинство школьников считают, что необходимо знать национальную историю (ее основные вехи, памятники материальной и духовной культуры, выдающихся людей, их заслуги), однако уровень их знаний по истории родного народа невысок: от трети до половины опрошенных имеют весьма поверхностные знания, а некоторые вообще никаких (табл. 5).

Таблица 5

Ответы на вопросы «Необходимо ли знать свою национальную историю и культуру?» и «Каков Ваш уровень знаний по национальной истории и культуре?» (в %)

Города / Годы опросов	Да	Уровень знаний по истории родного народа		
		высокий	знания весьма поверхностны	вообще не имеют о ней представления
Астрахань				
1998/1999	82	47	48	4
2001/2002	88	50	49	1
2004/2005	78	42	48	10
2008/2009	73	39	50	3
2011/2012	74	39	48	10
2015/2016	80	49	49	2
Барнаул				
2009/2010	85	41	54	2
Грозный				
2001/2002	96	46	42	8
2004/2005	94	38		
Иваново				
2005/2006	76	42	13	45
Краснодар				
2001/2002	74	36	53	7
Майкоп				
1999/2000	90	59	38	1
Махачкала				
2001/2002	85	40	53	6
Москва				
1998/1999	78	47	43	10
2001/2002	75	64	35	1
2007/2008	73	54	45	1
2011/2012	61	22	46	31
2015/2016	72	61	38 (на уровне ЕГЭ)	1
Назрань				
2000/2001	93	43	54	2
2002/2003	91	81	14	
2004/2005	79	46	54	
Нальчик				
2001/2002	97	44	56	1
Псков				
1998/1999	87	65	34	1
Ставрополь				
2001/2002	75	52	42	3

Во второй части опроса рассматривалась культура межнационального общения школьников, их отношение к представителям других национальностей (на основе

повседневного опыта, национальных стереотипов, системы воспитания и образования), конфликтный потенциал и предрасположенность учащихся к протестному поведению. Показателем в этой связи ответ на вопрос: «Есть ли национальности, к которым Вы испытываете неприязнь?» (табл. 6).

Таблица 6

**«Есть ли национальности,
к которым Вы испытываете неприязнь?» (в %)**

Города / Годы опросов	Да	Нет
Астрахань		
1998/1999	26	70
2001/2002	47	35
2004/2005	53	34
2008/2009	42	48
2011/2012	33	54
2015/2016	36	46
Барнаул		
2009/2010	46	46
Грозный		
2001/2002	38	63
2004/2005	34	53
Иваново		
2005/2006	37	39
Краснодар		
2001/2002	39	41
Майкоп		
1999/2000	21	49
Махачкала		
2001/2002	15	76
Москва		
1998/1999	20	61
2001/2002	32	43
2007/2008	28	53
2010/2011	13	62
2015/2016	17	68
Назрань		
2000/2001	32	50
2001/2002	26	74
2004/2005	25	63
Нальчик		
2001/2002	8	80
Псков		
1998/1999	36	45
Ставрополь		
2001/2002	40	43

Опросы среди учащихся многонациональных школ проводились для выяснения мнений респондентов о том, возрастает или падает статус представителей разных национальностей, какова вертикальная мобильность у разных этнических групп в исследуемых регионах, имеет ли место проявление прямой или косвенной дискриминации по национальному признаку. Старшеклассникам предлагалось ответить, влияет ли национальность человека на его дальнейшую судьбу: поступление в вуз и получение образования; продвижение по работе, службе; участие в политических и общественных организациях. Общий итог подводился вопросом «Считаете ли Вы, что представители Вашей национальности обладают реально равными правами с представителями других национальностей?». Этот комплекс

вопросов должен был показать, имеет ли место дискриминация по национальному признаку, и, если да, то, как проявляется и влияет на этническое сознание учащихся.

Оценка влияния национальной принадлежности на социальную мобильность представлена в табл. 7.

Таблица 7

Оценки влияние национальной принадлежности (в %)

Города / Годы опросов	Обладают ли представители Вашей национальности равными правами с другими национальностями		Влияет ли в реальной жизни национальность человека на:						
			поступление в вуз		продвижение по работе		политиче- скую дея- тельность		
	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет	
Астрахань									
1998/1999	80	16	26	55	30	45	32	43	
2001/2002	86	6	20	66	25	59	44	48	
2004/2005	73	19	30	58	37	58	46	33	
2008/2009	80	9	20	70	25	60	32	45	
2011/2012	79	12	24	64	30	58	37	42	
2015/2016	80	10	25	64	34	54	40	46	
Барнаул									
2009/2010	66	22	21	56	27	45	40	31	
Грозный									
2001/2002	50	29	75	21	71	21	50	13	
2004/2005	25	63	56	19	66	9	63	19	
Иваново									
2005/2006	62	15	26	49	28	51	43	35	
Краснодар									
2001/2002	58	15	24	49	30	24	48	15	
Майкоп									
1999/2000	76	12	42	38	49	31	47	33	
Махачкала									
2001/2002	82	10	44	44	47	34			
Москва									
1998/1999	71	15	37	38	41	35	57	24	
2001/2002	63	18	39	35	49	30	58	23	
2007/2008	50	29	39	33	46	31	54	27	
2010/2011	60	12	50	19	37	35	50	19	
2015/2016	57	28	47	53	65	34	77	22	
Назрань									
2000/2001	61	29	70	27	60	26	73	12	
2001/2002	30	53	88	12	52	12	60	9	
2004/2005	42	21	50	33	50	21	50	29	
Нальчик									
2001/2002	85	5	34	52	35	50	34	45	
Псков									
1998/1999	66	18	35	40	49	30	31	19	
Ставрополь									
2001/2002	62	15	27	55	30	48	43	37	

Если сравнивать ответы учащихся базовых школ в Астрахани и Москве в 2015—2016 учебном году, то у московских школьников изменились оценки вертикальной мобильности и равенства прав разных национальностей. Так, на 16% увеличилось количество ответов у русских учащихся в Москве, что их национальность (этническое большинство в стране) не обладает равными правами с представителями других национальностей, в их ответах преобладают высказывания о зависимости продвижения по работе или службе от национальной принадлежности — 65% (увеличение на 28% по сравнению с 2010—2011), а также политиче-

ской активности — 77% (увеличение на 27% по сравнению с 2010—2011). В 2015—2016 г. ответы астраханских учащихся остались сходными с ответами предыдущих лет. Большинство астраханских школьников и русской, и татарской, и казахской национальностей (80%) считают, что представители их национальности обладают равными правами с представителями других национальностей (при поступлении в вуз, продвижении по работе или службе, а также при осуществлении политической активности) и указывают на отсутствие дискриминации по национальному признаку.

В возникновении и разрастании межнациональных конфликтов велика роль господствующих в массовом сознании стереотипов, настроений, предрассудков, в частности неприязни к тому или иному народу. Попытка выявить наличие этого фактора была сделана в ходе опроса учащихся национальных школ и классов многонационального состава. Тревожный момент выявлен при анализе конфликтного потенциала учащихся — ответов о возможном участии в межнациональном конфликте (табл. 8).

Таблица 8

**Возможное участие в межнациональном конфликте
на стороне своей национальности (в %)**

Город/ Годы опросов	Да, безусловно	Зависит от обстоятельств	Ни в коем случае	Затрудняюсь ответить
Астрахань				
1995/1996	26	58	5	1
1996/1997	16	66	9	9
1998/1999	9	64	8	19
2001/2002	18	59	5	20
2004/2005	34	32	13	6
2008/2009	33	45	15	7
2011/2012	19	59	11	7
2015/2016	14	60	13	13
Барнаул				
2009/2010	10	65	13	12
Иваново				
2005/2006	41	27	6	26
Майкоп				
1999/2000	22	38	33	
Москва				
1998/1999	8	63	15	15
2001/2002	11	56	18	
2007/2008	7	50	28	20
2010/2011	1	42	36	10
2015/2016	9	48	33	
Краснодар				
2001/02	14	69	17	
Грозный				
2001/2002	33	46	4	
2004/2005	63	28	3	6
Назрань				
2000/2001	38	53		
2001/2002	77	12	2	
2004/2005	33	42	4	21
Махачкала				
2001/02	20	56	14	
Нальчик				
2001/2002	13	63	5	
Псков				
1998/1999	10	73	7	
Ставрополь				
2001/2002	18	55	11	

Возможность использования силы при решении межнациональных проблем учащиеся комментировали, выбирая следующие варианты ответов: 1 — в нынешних условиях межнациональные проблемы нужно решать только с применением силы; 2 — сила необходима только тогда, когда под угрозой оказываются жизнь и достоинство людей; 3 — силовое решение национальных проблем в принципе недопустимо; 4 — затрудняются ответить (табл. 9).

Таблица 9

**Возможность использования силы
при решении межнациональных проблем (в %)**

Города / годы	Только с применением силы	Только при угрозе жизни	Не допустимо в принципе	Затрудняются ответить
Астрахань				
1995/1996	8	67	19	6
1996/1997	8	66	22	4
1998/1999	2	76	18	4
2001/2002	6	75	12	7
2004/2005	14	63	11	12
2008/2009	6	68	15	10
2011/2012	11	59	12	12
2015/2016	5	52	32	11
Барнаул				
2004/2005	2	64	26	8
Иваново				
2004/2005	15	60	14	10
Псков				
1998/1999	7	66	22	5
Москва				
1998/1999	3	54	39	4
2001/2002	7	45	36	12
2007/2008	5	40	42	13
2010/2011	2	55	27	4
2015/2016	2	61	34	3
Майкоп				
1999/2000	4	50	39	7
Краснодар				
2001/2002	8	58	15	19
Грозный				
2001/2002	4	63	29	4
2004/2005		47	47	6 — не ответили
Назрань				
2000/2001		38	59	3
2001/2002	7	77	9	7
2004/2005	4	63	21	5
Махачкала				
2001/2002	6	68	15	11
Нальчик				
2001/2002	6	65	23	6
Ставрополь				
2001/2002	5	74	11	10

Таким образом, учащиеся обладают достаточно высоким конфликтным потенциалом, который может быть реализован или не реализован в зависимости от обстоятельств и влияния, оказываемого на молодежь.

Результаты исследований гражданского сознания школьников показали всю сложность и противоречивость этнического сознания учащихся в настоящий момент, а именно: с одной стороны, у школьников в полиэтничных регионах отмечено сочетание высокого уровня этнической толерантности (за весь изучаемый период ни в одной школе не было случая, чтобы ребенок отказался сесть за парту с ребенком другой национальности, учащиеся выразили положительное отношение к учебе в многонациональных коллективах, большинство утверждали, что национальность при выборе друзей для них не имеет значения); с другой стороны, опросы зафиксировали неприязнь по национальному признаку: в 1998—1999 году — от 20% до 36%, в 2001—2002 — от 8% до 47%, в 2004—2005 — от 25% до 53%, в 2007—2008 — 53%, в 2008—2009 — от 42% до 46%, в 2010—2011 — от 13% до 33%, в 2011—2012 — до 33%, в 2015—2016 — от 17% до 36%; а также возможное участие в этнических конфликтах на стороне своей национальной группы: в 1998—1999 — от 60% до 83%, в 2001—2002 — от 73% до 89%, в 2004—2005 — от 66% до 91%, в 2007—2008 — 57%, в 2008—2009 — от 75% до 78%, в 2010—2011 — от 43% до 78%, в 2011—2012 — от 19% до 59%, в 2015—2016 — от 57% до 74%.

В то же время молодому поколению присуща четкая этническая идентификация, гордость за свою нацию, страну, родной край, любовь к родине, ее истории, культуре и традициям и обычаям, высокий уровень патриотического сознания, сочетающийся с уважением к представителям других наций, что делает возможным снижать конфликтный потенциал молодежи и формировать позиции молодых людей на основе общечеловеческих ценностей, этнической толерантности и взаимного уважения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Валянский С., Калужный Д. Негодяй прибежище найдет // Литературная газета. № 16. 18—24.04.2001.
- [2] Ефимов Н. О патриотах, негодях и Родине // Независимая газета. 24.06.2000.
- [3] Рац М. Две версии патриотизма // Независимая газета. 02.02.2000.
- [4] Рац М. Патриотизм и способы его обсуждения // Независимая газета. 26.08.2000.
- [5] Рубан Л.С. Молодежь в полиэтничном регионе: взгляды, позиции, ориентации (Астрахань и Астраханская область). Астрахань: Изд-во АГУ, 1999.
- [6] Рубан Л.С. Дилемма XXI века: толерантность и конфликт. М.: Academia, 2006.
- [7] Рубан Л.С. Социализация молодежи в полиэтничных регионах (по материалам конкретных социологических исследований) // Как формировать толерантность в полиэтничных регионах / Под ред. Л.С. Рубан. М.: Academia, 2012.
- [8] Толстой Л.Н. Круг чтения. М.: Политиздат, Наше наследие, 1991. Т. 2.

LONGITUDE STUDIES OF THE PATRIOTIC MOOD OF SCHOOL YOUTH IN POLYETHNIC REGIONS (results of sociological surveys)*

L.S. Ruban

Center for Global Studies “East-West”

National Research University “MPEI”

Krasnokazarmennaya St., 14, Moscow, Russia, 111250

The article considers the formation of the patriotic mood of school youth in polyethnic regions of the Russian Federation based on the data of large-scale longitude generational studies that have been conducted since 1998 and are unprecedented in scale for both Russian and Western research tradition. The surveys have been conducted in twelve regions: Astrakhan and the Astrakhan region, Groznyy, Ivanovo, Krasnodar, Maikop, Makhachkala, Moscow, Nazran, Nalchik, Pskov and Stavropol. The project focuses on the views and values of the younger generations, on their conflict and tolerance potential. The main goal of the project is to support the younger generations capable of confronting and overcoming life difficulties, of suppressing one's negative and conflict reactions, of protecting one's interests and respecting the interests of others, which would lead to the development of culture of tolerance and consent and to preventing xenophobia manifestations. For the study of ethnic-social attitudes, for the identification of conflict potential, for the prevention of conflicts and manifestations of xenophobia and extremism, the researchers developed an ethnic-conflict monitoring in the framework of the international project “Dialogue Partnership as a Factor of Stability and Integration” (“Bridge between East and West”) and the program “Youth of Polyethnic Regions: Views, Attitudes, Values” (the author is the founder and the head of the project and the program). The monitoring has been conducted for 29 years in the form of generational studies that aim to reveal the development of the youth ethnic consciousness in different regions, and to ensure a timely influence in order to reduce conflict potential and to support the culture of tolerance.

Key words: longitude study; polyethnic region; monitoring of ethnic conflicts; school education system; patriotism; patriotic education; culture of interethnic communication; tolerance; conflict prevention

REFERENCES

- [1] Valjanskij S., Kaljuzhnyj D. Negodjaj pribezishshe najdet [A villain always finds a refuge]. *Literaturnaja gazeta*. No. 16. 18—24.04.2001 (In Russ.).
- [2] Efimov N. O patriotah, negodjajah i Rodine [About patriots, villains and motherland]. *Nezavisimaja gazeta*. 24.06.2000 (In Russ.).
- [3] Rats M. Dve versii patriotizma [Two versions of patriotism]. *Nezavisimaja gazeta*. 02.02.2000 (In Russ.).
- [4] Rats M. Patriotizm i sposoby ego obsuzhdenija [Patriotism, and ways to discuss it]. *Nezavisimaja gazeta*. 26.08.2000 (In Russ.).
- [5] Ruban L.S. *Molodezh' v polijetnichnom regione: vzgljady, pozicii, orientacii (Astrahan' i Astrahanskaja oblast')* [Youth in Polyethnic Region: Views, Positions, and Orientations (Astrakhan and Astrakhan Region)]. Astrahan': Izd-vo AGU; 1999 (In Russ.).
- [6] Ruban L.S. *Dilemma XXI veka: tolerantnost' i konflikt* [Dilemma of the XXI Century: Tolerance and Conflict]. Moscow: Academia; 2006 (In Russ.).
- [7] Ruban L.S. *Socializacija molodezhi v polijetnichnyh regionah (po materialam konkretnyh sociologicheskikh issledovanij)* [Socialization of the youth in polyethnic regions (on the data of sociological studies)]. *Kak formirovat' tolerantnost' v polijetnichnyh regionah* / Pod red. L.S. Ruban. Moscow: Academia; 2012 (In Russ.).
- [8] Tolstoj L.N. *Krug chtenija* [A Circle of Reading]. Moscow: Politizdat, Nashe nasledie; 1991. Vol. 2 (In Russ.).

* © L.S. Ruban, 2017.



РЕЦЕНЗИИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-2-253-255

ОСВОЕНИЕ ВОЗРАСТА Иванов В.Н. От 70-ти до 100: размышления и воспоминания. — М., ИПО «У Никитских ворот», 2017. — 168 с.

«Жажда познания сильнее, чем страх
пред неизбежностью нашей судьбы».

Вилен Иванов

«Мудрость — добродетель, которой на-
граждаются те, кто бесстрастно изуча-
ют движение сердца и ума, кто, пере-
рабатывая опыт, обретает понимание
жизни».

Джулиан Барнс

Замысел книги-исследования видного российского социолога, члена-корреспондента РАН В.Н. Иванова о проблемах старости «От 70 до 100. Размышления и воспоминания» вызревал на протяжении более десятилетия. Отдельные подходы к теме были обозначены в предыдущих книгах автора «Откровения» (М., 2007) и «Юбилеи (заметки социолога)» (М., 2015). Важной особенностью рецензируемой работы является двуединость осмысления личного жизненного опыта и научного анализа проблемы старения, опирающегося на собственное социологическое исследование, а также на материалы исследований ИСПИ РАН. Актуальность данной проблемы определяется общемировой тенденцией старения населения, а в нашей стране еще и необходимостью повышения внимания к людям старших возрастов и выработке рекомендаций по улучшению условий их жизни ввиду сложности и неоднозначности экономической и социально-политической ситуации.

Автор определяет жанр своего социологического исследования как «родственный глубинному (неформализованному) интервью». Осуществлено оно было в два этапа: предварительные беседы с коллегами-сверстниками послужили пилотным проектом для отработки методики и направленности опросов; затем летом и осенью 2016 г. были проведены интервью, отличавшиеся более широким охватом проблем, которые позволили сделать необходимые обобщения и выводы по предмету исследования. Респондентами выступили высокообразованные, обладающие высоким социальным статусом и, естественно, большим жизненным опытом люди пенсионного возраста, и, что, несомненно, важно для степени доверия, одной возрастной когорты с исследователем. Неформализованность процеду-

ры предоставила широкие возможности для анализа и обобщений. В итоге получился, как представляется, яркий и многогранный портрет поколения или, словами автора, показана «социальная и личностная наполненность жизни людей в указанном возрастном диапазоне».

Исследование выявило широкий круг интересующих и волнующих пожилых людей проблем: и исторические судьбы страны, и сложившаяся социальная ситуация, и резкое углубление социального неравенства, и оценка «либеральных» реформ, и коррупция. Весьма показателен список недоуменных вопросов «почему?» (стр. 43—44), касающийся несоответствия проводимой экономической политики ожиданиям населения. Собеседники автора по большей части склонны считать бесперспективным капиталистический путь развития; также они не приемлют огульного отрицания исторического прошлого страны. Вместе с тем значительное место в повествованиях информантов занимают и общечеловеческие проблемы: психологическое переживание возраста, востребованность квалификации и опыта, культура старения, факторы творческой и жизненной активности.

Философски осмысляя сложную проблематику ухода из жизни (как писал М. Монтень, «философствовать — значит учиться умирать») автор в разделе «Рефлексия ухода» рассматривает, опираясь на суждения философов от античности до Нового времени, жизненный путь писателей, историков, культурологов. Здесь содержатся свидетельства «об ужасах мира», о «бессилии перед великой тайной жизни и смерти», оценивается влияние возраста на психологическое восприятие жизни и поведение разных типов личности. Автор отмечает и поиски примирения и утешения в религии, эзотерике, просто в сочувствии близких. Самому автору ближе всего «конечный вывод мудрости земной» из «Фауста» И.В. Гете: «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой», т.е. непрерывная творческая деятельность: «надо сделать и успеть сделать — сильные мотивационные доминанты».

Сверхзадача книги В.Н. Иванова определена им в одноименном стихотворении, вынесенном на обложку: показать молодежи, «что старости не следует бояться, что старость нужно полюбить». Этот призыв ассоциируется с названием книги известного английского писателя Джулиана Барнса «Нечего бояться» — это развернутое эссе, посвященное размышлениям о старости, страхе смерти и роли религии на примерах из жизни Монтеня, Стендаля, Флобера, Чайковского, Шостаковича и других известных личностей, а также из истории семьи самого автора.

«Молодым и любознательным» будут интересны и поучительны сведения об известных долгожителях, «маяках» возраста — ученых, писателях, деятелях культуры, военачальниках, политиках, залогом долголетия которых служила любовь к стране, профессиональное подвижничество, творческая и общественная активность. Их судьбы лишней раз подтверждают вывод автора о благотворности интеллектуальной активности для поддержания жизненного тонуса.

Всем, интересующимся творчеством В.Н. Иванова, известно, что во многие книги он включает подборки своих стихов. И в новой работе представлены стихотворные разделы «Юбилейные стрелы», «Лирические отступления» и «Эпиграммы сверстникам». Формально стихи помещены в приложения, но они придают новое эмоциональное измерение «основной части» книги. В первом разделе, посвящен-

ном 25-летию августовских событий 1991 г., ярко и отчетливо выражена гражданская позиция автора. Его сатирические стрелы, нередко ироничные и саркастичные, направлены против негативных явлений «общества абсурда», против последствий развала страны, произвола бюрократии и т.п. «Лирические отступления», естественно, славят «жизнь как подарок, жизнь как благодать», любовь, приятие возраста («старость нужно понимать»), порой говорят об экзистенциальном одиночестве человека, напоминают «финалистам» о неизбежном. Но все же основная «установка» автора иная: «Пусть каждое мгновение будет чудным и радостью наполнен каждый миг».

Отдельно хочется сказать о разделе «Случайные мысли». Конечно же, они не случайны, в их россыпи в афористической форме отражены представленные в книге размышления. Напрашивается сравнение со знаменитым американцем Амброзом Бирсом. В его «Словаре Сатаны» есть и такие высказывания «в тему»: «долголетие — необычайно продолжительный страх смерти»; «детство — период человеческой жизни, находящийся между младенческим идиотизмом и юношеским безумием, на две стадии отстающим от грешной зрелости и на три — от старческого маразма». Правда, такая «классификация» может служить лишь контрапунктом к гуманистическим посылам автора. Замечателен также завершающий книгу раздел «Памятка неофиту», где рекомендации автора «вошедшим в возраст» исполнены мудрости, оптимизма, юмора, но и абсолютно практичны как программа активной старости.

На первый взгляд разножанровая книга на самом деле оказывается цельным сложноструктурированным произведением, в котором научное исследование «рифмуется» (и тем самым обогащается) с воспоминаниями и размышлениями, со стихами: научные рекомендации о мерах поддержки людей старших возрастов — с «Памяткой неофиту», сведения о заслуженных «маяках» — с дружескими эпиграммами «совершеннолетним». Каждый из жанров дополняет освещение разных аспектов поднятой проблемы — от научно-статистического, до лирико-элегического. Наверное, книга о таких «материях» и не может быть строго академической.

Прошедший год был очень плодотворным для автора. Им опубликованы материалы к курсу лекций «История и философия науки» (М., 2016), книга «Люди и годы. Записки социолога» (М., 2016), вызвавшая большой резонанс и оживленную дискуссию среди коллег. Рассматриваемое произведение также фактически завершено в 2016 г. и, как мы пытались показать, представляет несомненный интерес как для научного сообщества, так и для широкого круга читателей. В заключение хочется отметить, что на разных уровнях у нас любят говорить о потенциале (страны, народа, человека) как о некоей самооценности, но дальше дело, как правило, не идет. В данном случае, имея в виду труд В.Н. Иванова, мы видим пример несомненного и постоянного проявления и активной реализации творческой энергии талантливого автора.



НАШИ АВТОРЫ

Алешковский Иван Андреевич — кандидат экономических наук, заместитель декана факультета глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: aleshkovski@yandex.ru).

Белоножко Лидия Николаевна — ассистент кафедры маркетинга и муниципального управления Тюменского индустриального университета (e-mail: lnbelonozhko@gmail.com).

Зареев Геннадий Геннадьевич — кандидат философских наук, член Союза писателей России (e-mail: 152928@mail.ru).

Кравченко Альберт Иванович — доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры истории и теории социологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (e-mail: kravchenkoai@mail.ru).

Куропятник Александр Иванович — доктор социологических наук, заведующий кафедрой культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: alkuropjatinik@mail.ru).

Куропятник Марина Степановна — доктор социологических наук, профессор кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: kuropjatinik@bk.ru).

Штефан Мерль — профессор Билефельдского университета (e-mail: Stephan.Merl@uni-bielefeld.de).

Рубан Лариса Семеновна — доктор социологических наук, директор и научный руководитель Центра глобальных исследований «Восток-Запад» Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт», руководитель международного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком») (e-mail: lruban@yandex.ru).

Ткачева Нина Алексеевна — доктор социологических наук, профессор кафедры маркетинга и муниципального управления Тюменского индустриального университета (e-mail: sever626@mail.ru).

Шанин Теодор — почетный профессор Манчестерского университета, президент Московской школы социальных и экономических наук, почетный член Российской академии сельскохозяйственных наук (e-mail: shanin@universitas.ru).

Шульц Эдуард Эдуардович — кандидат исторических наук, директор Центра политических и социальных технологий (e-mail: nuap1@ya.ru).



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В журнале публикуются статьи по методологии, истории и теории социологии, статьи по результатам социологических и междисциплинарных исследований по широкому кругу вопросов социально-гуманитарного знания на русском и английском языках, а также реферативные обзоры и рецензии.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, оформленные в строгом соответствии со следующими правилами:

1. **Объем рукописи** — от 26 до 50 тысяч знаков (с пробелами) для статей, от 12 до 20 тысяч знаков — для рецензий. Формат страницы — А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — полуторный, нумерация страниц не проставляется. Отступ первой строки абзаца — 1,25, поля на странице — 30 мм слева, 20 мм справа, сверху и снизу. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, стоящая после прописной буквы «С», — на номер страницы в источнике (например, [1. С. 26]; ссылка на несколько источников — [1. С. 126; 4. С. 43]). Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).
2. Все **таблицы, схемы, графики и рисунки** встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна.
3. **Формулы** размечаются, поясняются и снабжаются библиографическими ссылками.
4. В рукописях необходимо приводить два списка ссылок на использованные в работе источники — «**Библиографический список**» и «**References**». Ссылки на источники в Библиографическом списке следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; References — в стиле Vancouver в версии AMA. Требования к оформлению Библиографического списка и References приведены на сайте журнала: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. К статье обязательно прилагаются:
 - ♦ **аннотация** (резюме) объемом 200—250 слов на русском и английском языках;
 - ♦ **список 7—8 ключевых слов** на русском и английском языках; каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой;

- ◆ **авторская справка** на русском и английском языках, где указываются: Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, должность, ученая степень, а также **данные для связи с автором** — адрес места работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, мобильный), электронный адрес.

Решение о публикации выносится в течение трех месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материалы, не принятые к изданию, не возвращаются. Редакция не вступает с авторами в переписку в случае отказа от публикации их материалов.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения редколлегии.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редколлегии.

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно ознакомиться на сайте журнала в сети Интернет: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

Для отправки статьи в редакцию необходимо заполнить форму на сайте журнала <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, где также приведена подробная информация для авторов.



AUTHORS' GUIDELINES

The journal publishes articles on the methodology, history and theory of sociology, articles on the results of sociological and inter-disciplinary studies covering a wide range of issues in social sciences and humanities written in Russian and English, as well as brief surveys and book reviews.

The editors will consider articles strictly complying with the following standards:

1. **The size of the manuscript** — from 26 to 50 thousand symbols for articles; from 12 to 20 thousand symbols for reviews. References are to be given in the text in square brackets, inside of which the first figure indicates the number of the source in the references list, the second one, following the capital letter “P”, indicates the page number in the source (for example, [1. P. 126]; references to several sources — [1. P. 126; 4. P. 43]). References to footnotes are to be given in round brackets, for example, (1).
2. All the **tables, diagrams, graphs, and drawings** are to be incorporated in the text of the article. They are to be numbered and supplied with a title. Tables are to be given a title placed above the table, drawings are to have captions. When several tables and/or drawings are used in the article, their numeration is obligatory.
3. **Formulas** are to be marked out, explained and provided with references.
4. The manuscript must include a list of references submitted in accordance with the Vancouver style of the AMA version. Requirements to ‘References’ can be found on the journal’s website: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. **It is obligatory to attach** the following to the manuscript:
 - ◆ **abstract (summary)** of 200—250 words in Russian and English;
 - ◆ **a list of 7—8 key terms** in Russian and English; each key term or word-combination is to be separated from another one with a semicolon;
 - ◆ **information about the author** in Russian and English, including: the author’s full name, the official name of the place of employment, position, scientific degree, as well as **the author’s contact data** — mailing address, telephone number (office, mobile), electronic address.

The decision as to publication is made within three months from the day the manuscript is registered at the editorial office. Materials which are not accepted for publication will not be returned. The editors will not enter into correspondence with the authors in case of refusal to publish the articles submitted by them.

The authors will bear full responsibility for the selection and authenticity of the given facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, geographical names and other information.

The published materials may not reflect the viewpoint of the editorial board and the editors.

The author, submitting a manuscript to the editors, undertakes not to have it published, either in full or partially, in any other publication without the editors' consent.

The published issues and abstracts of the articles are available on the website of the journal: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

To send the article to the editors the author need to fill in a form on the website <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, which also provides the detailed information for authors.